



Д. С. Мережковский

**ХРИСТОС И**  
**АНТИХРИСТ**

Христос и Антихрист

Дмитрий Мережковский

**Смерть Богов (Юлиан Отступник)**

«Public Domain»

1896

## **Мережковский Д. С.**

Смерть Богов (Юлиан Отступник) / Д. С. Мережковский —  
«Public Domain», 1896 — (Христос и Антихрист)

Трилогия «Христос и Антихрист» занимает в творчестве выдающегося русского писателя, историка и философа Д.С.Мережковского центральное место. В романах, героями которых стали бесспорно значительные исторические личности, автор выражает одну из главных своих идей: вечная борьба Христа и Антихриста обостряется в кульминационные моменты истории. Ареной этой борьбы, как и борьбы христианства и язычества, становятся души главных героев.

## Содержание

Часть первая	5
I	5
II	9
III	13
IV	17
V	20
VI	24
VII	31
VIII	35
IX	38
X	40
XI	46
XII	51
Конец ознакомительного фрагмента.	52

# Дмитрий Сергеевич Мережковский

## Смерть богов (Юлиан Отступник)

### Часть первая

#### I

В двадцати стадиях от Цезареи Каппадокийской, на лесистых отрогах Аргейской горы, при большой римской дороге, был источник теплой целебной воды. Каменная плита с грубо высеченными человеческими изваяниями и греческой надписью свидетельствовала, что некогда родник посвящен был братьям Диоскурам – Кастору и Поллуксу. Изображения языческих богов, оставшись неприкосновенными, считались изображениями христианских святых, Косьмы и Дамиана.

На другой стороне дороги, против св. Источника, была построена небольшая таверна, крытая соломой лачуга, с грязным скотным двором и навесом для кур и гусей. В кабачке можно было получить козий сыр, полубелый хлеб, мед, оливковое масло и довольно терпкое честное вино. Таверну содержал лукавый армянин Сиракс.

Перегородка разделяла ее на две части: одна – для простого народа, другая – для более почетных гостей. Под потолком, почерневшим от едкого дыма, висели копченые окорока и пучки душистых горных трав: жена Сиракса, Фортуната, была добрая хозяйка.

Дом считался подозрительным. Ночью добрые люди в нем не останавливались; ходили слухи о темных делах, совершенных в этой лачуге. Но Сиракс был пронырлив, умел дать взятку, где нужно, и выходил сух из воды.

Перегородка состояла из двух тонких столбиков, на которые натянута была, вместо занавески, старая полинявшая хламида Фортунаты. Столбики эти составляли единственную роскошь кабачка и гордость Сиракса: некогда позолоченные, они давно уже растрескались и облупились; прежде ярко-лиловая, теперь пыльно-голубая ткань хламиды пестрела многими заплатами и следами завтраков, ужинов и обедов, напоминавшими добродетельной Фортунате десять лет семейной жизни.

В чистой половине, отделенной занавеской, на единственном ложе, узеньком и продранном, за столом с оловянным кратером и кубками вина, возлежал римский военный трибун шестнадцатого легиона девятой когорты Марк Скудило. Марк был провинциальный щеголь, с одним из тех лиц, при виде которых бойкие рабыни и дешевые гетеры городских предместий восклицают в простодушном восторге: «какой красивый мужчина!» В ногах его, на той же ленте, в почтительном и неудобном положении тела, сидел краснолицый толстяк, страдавший одышкой, с голым черепом и редкими седыми волосами, зачесанными от затылка на виски, – сотник восьмой центурии Публий Аквила. Поодаль, на полу, двенадцать римских легионеров играли в кости.

– Клянусь Геркулесом, – воскликнул Скудило, – лучше бы я согласился быть последним в Константинополе, чем первым в этой норе! Разве это жизнь, Публий? Ну, по чистой совести отвечай – разве это жизнь? Знать, что кроме учений да казармы, да лагерей ничего впереди. Сгниешь в вонючем болоте и света не увидишь!

– Да, жизнь здесь, можно сказать, невеселая, – согласился Публий. – Ну, уж зато и спокойно.

Старого центуриона занимали кости; делая вид, что слушает болтовню начальника, подкакивая ему, исподтишка следил он за игрой солдат и думал: «если рыжий ловко метнет –

пожалуй, выиграет». Только для приличия Публий спросил трибуна, как будто это занимало его:

– Из-за чего же, говоришь ты, сердит на тебя префект Гельвидий?

– Из-за женщины, Друг мой, все из-за женщины.

И в припадке болтливой откровенности, с таинственным видом, на ухо сообщил Марк центуриону, что префект, «этот старый козел Гельвидий», приревновал его к приезжей гетере лилибеянке; Скудило хочет сразу какой-нибудь важной услугой возратить себе милость Гельвидия. Недалеко от Цезарей, в крепости Мацеллуме, заключены Юлиан и Галл, двоюродные братья царствующего императора Констанция, племянники Константина Великого, последние отпрыски несчастного дома Флавиев. При вступлении на престол, из боязни соперников, Констанций умертвил родного дядю, отца Юлиана и Галла, Юлия Констанция, брата Константина. Пало еще много жертв. Но Юлиана и Галла пощадили, сослав в уединенный замок Мацеллум. Префект Цезарей, Гельвидий, был в большом затруднении. Зная, что новый император ненавидит двух отроков, напоминавших ему о преступлении, Гельвидий и хотел, и боялся угадать волю Констанция. Юлиан и Галл жили под вечным страхом смерти. Ловкий трибун Скудило, мечтавший о возможности придворной выслуги, понял из намеков начальника, что он не решается принять на себя ответственность и напуган сплетнями о замышляемом бегстве наследников Константина; тогда Марк решился отправиться с отрядом легионеров в Мацеллум и на свой страх схватить заключенных, чтобы отвести их в Цезарею, полагая, что нечего бояться двух несовершеннолетних, всеми брошенных, сирот, ненавистных императору. Этим подвигом надеялся он возратить себе милость префекта Гельвидия, утраченную из-за рыжеволосой лилибеянки.

Впрочем, Публию Марк сообщил только часть своих замыслов, и притом осторожно.

– Что же ты хочешь делать, Скудило? Разве получены предписания из Константинополя?

– Никаких предписаний; никто ничего наверное не знает. Но слухи, видишь ли, – тысячи различных слухов и ожиданий, и намеки, и недомолвки, и угрозы, и тайны – о, тайнам нет конца! Всякий дурак сумеет исполнить то, что сказано. А ты угадай безмолвную волю владыки – вот за что благодарят. Посмотрим, попробуем, поищем. Главное – смелее, смелее, осенев себя крестным знаменем. Я на тебя полагаюсь, Публий. Может быть, мы с тобою скоро будем пить при дворе вино послаще этого...

В маленькое решетчатое окошко падал унылый свет ненастного вечера; однообразно шумел дождь.

Рядом, за тонкой глиняной стенкой со многими щелями, был хлев; оттуда пахло навозом, слышалось кудахтанье кур, писк цыплят, хрюканье свиней; молоко цедилось в звонкий сосуд; должно быть, хозяйка доила корову.

Солдаты, поссорившись из-за выигрыша, ругались шепотом. У самого пола, между ивовых прутьев, чуть прикрытых глиной, в щель выглянула нежная и розовая морда поросенка; он попал в западню, не мог вытащить головы назад и жалобно пищал.

Публий подумал:

«Ну, пока что, а мы теперь ближе к скотному, чем царскому двору».

Тревога его прошла. Трибуну, после неумеренной болтовни, тоже сделалось скучно. Он взглянул на серое дождливое небо в окошке, на глупую морду поросенка, на кислый осадок скверного вина в оловянном кубке, на грязных солдат – и злоба овладела им.

Он застучал кулаком по столу, качавшемуся на неровных ногах.

– Эй, ты, мошенник, хриstopродавец, Сиракс! Поди-ка сюда. Что это за вино, негодяй?

Прибежал кабатчик. У него были черные, как смоль, волосы в мелких кудряшках, и борода такая же черная, с синеватым отливом, тоже в бесчисленных мелких завитках; в минуты супружеской нежности Фортуната говорила, что борода Сиракса подобна гроздьям сладкого

винограда; глаза черные и необыкновенно сладкие; сладчайшая улыбка не сходила с румяных губ; он походил на карикатуру Диониса, бога вина: весь казался черным и сладким.

Кабатчик клялся и Моисеем, и Диндименой, и Христом, и Геркулесом, что вино превосходное; но трибун объявил, что знает, в чьем доме зарезан был памфилийский купец Глабрион, и что выведет когда-нибудь его, Сиракса, на чистую воду. Испуганный армянин бросился со всех ног в погреб и скоро с торжеством вынес бутылку необыкновенного вида – широкую, плоскую внизу, с тонким горлышком, всю покрытую благородною плесенью и мхом, как будто седую от старости. Сквозь плесень кое-где виднелось стекло, но не прозрачное, а мутное, слегка радужное; на кипарисовой дощечке, привешенной к горлышку, можно было разобрать начальные буквы: «Anthosmium» и дальше: «annogum centum» – «столетнее». Но Сиракс уверял, что уже во времена императора Диоклетиана вина было больше ста лет.

– Черное? – с благоговением спросил Публий.

– Как деготь, и душистое, как амброзия. Эй, Фортуната, для этого вина нужны летние хрустальные чаши. И дай-ка нам чистого, белого снега из ледника.

Фортуната принесла два кубка. Лицо у нее было здоровое, с приятной желтоватой белизной, как у жирных сливок; казалось, от нее пахнет деревенской свежестью, молоком и навозом.

Кабатчик взглянул на бутылку со вздохом умиления и поцеловал горлышко; потом осторожно снял восковую печать и откупорил. На дно хрустального кубка положили снега. Вино полилось густою черною пахучею струею; снег таял от прикосновения огненного антосмия; хрустальные стенки сосуда помутнились и запотели от холода. Тогда Скудило, получивший образование на медные гроши (он был способен смешать Гекубу с Гекатой), произнес с гордостью единственный стих Марциала, который помнил:

*Candida nigrescant vetulo crystallata Falerno*<sup>1</sup>.

– Подожди. Будет еще вкуснее!

Сиракс опустил руку в глубокий карман, достал крошечную бутылочку из цельного оникса и с чувственной улыбкой осторожно подлил в вино каплю драгоценного арабийского киннамона; капля упала в черную антосмию, как мутно-белая жемчужина, и растаяла; в комнате повеял сладкий странный запах.

Пока трибун с восторгом медленно пил, Сиракс прищелкивал языком и приговаривал:

– Библосское, Маронейское, Лаценское, Икарийское все перед этим дрянью!

Темнело. Скудило отдал приказ собираться в путь. Легионеры надели панцири, шлемы, на правую ногу железные поножия, взяли щиты и копья.

Когда они вышли за перегородку, исаврские пастухи, похожие на разбойников, сидевшие у очага, почтительно встали перед римским трибуном. Он имел величественный вид; в голове шумело; в жилах был огонь благородного напитка.

На пороге приступил к нему человек в странном восточном одеянии, в белом плаще с красными поперечными полосами и с высоким головным убором из воловьей шерсти – персидской тиарой, похожей на башню. Скудило остановился. Лицо у перса было тонкое, длинное, исхудалое, желто-оливкового цвета; узкие пронизательные глаза – с глубокою и хитрою мыслью; во всех движениях важное спокойствие. Это был один из тех бродячих астрологов, которые с гордостью называли себя халдеями, магами, пирэтами и математиками. Тотчас объявил он трибуну, что имя его Ногодарес; он остановился у Сиракса проездом; держит путь из далекой Анадиабены к берегам Ионического моря, к знаменитому философу и теургу – Максиму Эфесскому. Маг попросил позволения показать свое искусство и погадать на счастье трибуна.

<sup>1</sup> Светятся льдинки в бокалах с фалернским (лат.)

Закрыли ставни. Перс что-то приготавливал на полу; вдруг раздался легкий треск; все притихли. Красноватое пламя поднялось тонким длинным языком из белого дыма, наполнившего комнату. Ногодарес приложил к бескровным губам двуствольную тростниковую дудочку, заиграл, – и звук был томный, жалобный, напоминавший лидийские похоронные песни. Пламя, как будто от этого жалобного звука, пожелтело, померкло, засветилось грустно-нежным, бледно-голубым сиянием. Маг подбросил в огонь сушеной травы; разлился крепкий, приятный запах; запах тоже казался грустным: так благоухают полусохшие травы, в туманные вечера, над мертвыми пустынями Арахозии или Дрангианы. И, послушная жалобному звуку дудочки, огромная змея медленно выползла из черного ящика у ног волшебника, развивая с шелестом упругие кольца, блестящие зеленоватым блеском. Тогда он запел протяжным, тихим голосом, так что казалось – песнь доносится издалека; и много раз повторял все он одно и то же слово: «Мара, мара, мара». Змея обвилась вокруг его худого стана и, ласкаясь, с нежным шипением, приблизила плоскую, зелено-чешуйчатую голову с глазами, сверкавшими подобно карбункулам, к самому уху волшебника: длинное раздвоенное жало мелькнуло со свистом, как будто она что-то сказала ему на ухо. Волшебник бросил на землю дудочку. Пламя опять наполнило комнату мутно-белым дымом, но на этот раз с тяжелым, одуряющим, словно могильным, запахом, – и сразу потухло. Стделалось темно и страшно. Все были в смятении. Но, когда открыли ставни, и упал свинцовый свет дождливых сумерек – от змеи и от ее черного ящика не было ни следа. Лица казались мертвенно-бледными.

Ногодарес подошел к трибуну:

– Радуйся! Тебя ожидает великая и скорая милость блаженного Августа, императора Констанция.

Несколько мгновений он пытливо смотрел на руку Скудило, на очертания ладони; потом, быстро наклонившись к уху его, так что никто не мог слышать, сказал шепотом:

– Кровь, кровь великого цезаря на этой руке!

Скудило испугался.

– Как ты смеешь, проклятая халдейская собака? Я верный раб...

Но тот почти насмешливо заглянул ему в лицо хитрыми глазами и прошептал:

– Чего ты боишься?.. Через много лет... И разве без крови бывает слава?..

Когда солдаты вышли из таверны, гордость и радость наполняли сердце Скудило. Он подошел к св. Источнику, набожно перекрестился, выпил целебной воды, призывая с усердной мольбой Косьму и Дамиана. втайне надеясь; что предсказание Ногодареса не окажется тщетным; потом вскочил на великолепного каппадокийского жеребца и дал знак, чтобы легионеры выступали в путь. Знаменосец, «драконарий», поднял знамя в виде дракона из пурпуровой ткани. Трибуну хотелось похвастать перед толпой, высыпающей из кабака. Он знал, что это опасно, но не мог удержаться, опьяненный вином и гордостью; протянув меч по направлению к ущелью, покрытому туманом, он громко сказал:

– В Мацеллум!

Пронесся шепот удивления; произнесены были имена Юлиана и Галла.

Трубач, стоявший впереди, затрубил в медную «букцину», загнутую кверху в несколько завитков, подобно рогу барана. Протяжный звук римской трубы разнесся далеко по ущельям, и горное эхо повторило его.

## II

В огромной спальне Мацеллума, бывшего дворца каппадокийских царей, было темно. Постель десятилетнего Юлиана была жесткая: голое дерево, прикрытое барсовой шкурой; мальчик сам так хотел; недаром старый учитель, Мардоний, воспитывал его в строгих началах стоической мудрости.

Юлиану не спалось. Ветер подымался изредка, порывами, и жалобно, как пойманный зверь, завывал в щелях; потом вдруг становилось тихо; и в странной тишине слышно было, как нечастые крупные капли дождя падали, должно быть, с большой высоты, на звонкие каменные плиты. Юлиану казалось иногда, что в черном мраке сводов слышится быстрое шуршание летучей мыши. Он различал сонное дыхание брата, спавшего – то был изнеженный и прихотливый мальчик – на мягком ложе, под старинным запыленным пологом, последним остатком роскоши каппадокийских царей. Из соседнего покоя раздавался тяжелый храп педагога Мардония.

Вдруг маленькая кованая дверца потайной лестницы в стене тихонько скрипнула, открылась, и луч света ослепил глаза Юлиана. Вошла старая рабыня Лабда; она держала в руке медную лампаду.

– Няня, мне страшно; не уноси огня.

Старуха поставила лампаду в полукруглое каменное углубление над изголовьем Юлиана.

– Не спится? Не болит ли головка? Хочешь поесть? Кормит вас впроголодь старый грешник Мардоний. Медовых лепешек принесла. Вкусные. Отведай.

Кормить Юлиана было любимым занятием Лабды; но днем не позволял ей Мардоний, и она приносила лакомства ночью тайком.

Полуслепая старуха, едва таскавшая ноги, ходила всегда в черном монашеском платье; ее считали ведьмой; но она была набожной христианкой; самые мрачные, древние и новые, суеверия слились в ее голове в странную религию, похожую на безумие: молитвы смешивала она с заклинаниями, олимпийских богов с христианскими бесами, церковные обряды с волшебством; вся была увешана крестиками, кощунственными амулетами из мертвых костей и ладанками с мощами святых.

Старуха любила Юлиана благоговейной любовью, считая его единственным законным наследником императора Константина, а Констанция – убийцей и вором престола.

Лабда знала, как никто, все родословное древо, все вековечные семейные предания дома Флавиев; помнила Юлианова деда, Констанция Хлора; кровавые придворные тайны хранились в ее памяти. По ночам старуха рассказывала все Юлиану без разбора. И перед многим, чего детский ум его еще не мог понять, сердце уже замирало от смутного ужаса. С тусклым взором, равнодушным и однообразным голосом рассказывала она эти страшные бесконечные повести, как рассказывают древние сказки.

Поставив лампаду, Лабда перекрестила Юлиана, посмотрела, цел ли на груди его янтарный амулет, и, проговорив несколько заклинаний, чтобы отогнать злых духов, скрылась.

Юлиан забылся тяжелым полусном; ему было жарко; редкие, тяжкие капли дождя, падавшие в тишине, с высоты, как будто в звонкий сосуд, мучили его.

И он не мог различить, спит ли он или не спит, ночной ли ветер шумит, или дряхлая Лабда, похожая на парку, лепечет и шепчет ему на ухо страшные семейные предания. То, что он слышал от нее и что сам видел в детстве, смешивалось в один тяжелый бред.

Он видел труп великого императора на погребальном ложе. Мертвец нарумянен и набелен; хитрая многоэтажная прическа из поддельных волос сделана искуснейшими парикмахерами. Маленького Юлиана подводят, чтобы в последний раз поцеловал он руку дяди. Ребенку страшно; он ослеплен пурпуром, диадемой на поддельных кудрях и великолепием драгоцен-

ных камней, блестящих при похоронных свечах. Сквозь тяжелые аравийские благовония первый раз в жизни слышит он запах тления. Но придворные, епископы, евнухи, военачальники приветствуют императора, как живого; послы перед ним склоняются, благодарят его, соблюдая пышный чин; сановники провозглашают эдикты, законы, постановления сената; испрашивают соизволения мертвеца, как будто он может слышать; и льстивый шепот проносится над толпой: люди уверяют, будто бы он так велик, что, по особой милости Провидения, один только царствует и после смерти.

Юлиан знает, что Константин убил сына; вся вина молодого героя была в том, что народ слишком любил его; сын был оклеветан мачехой: она полюбила пасынка грешной любовью и отомстила ему, как Федра Ипполиту; потом оказалось, что жена кесаря в преступной связи с одним из рабов, состоявших при императорской конюшне, и ее задушили в раскаленной бане. Пришла очередь и благородного Лициния. Труп на трупе, жертва за жертвой. Император, мучимый совестью, молил об очищении иерофантов языческих таинств; ему отказали. Тогда епископ уверил его, что у одной только веры Христовой есть таинства, способные очистить и от таких преступлений. И вот пышный «лабарум», знамя с именем Христа из драгоценных камней, сверкает над похоронным ложем сыноубийцы.

Юлиан хотел проснуться, открыть глаза и не мог. Звонкие капли по-прежнему падали, как тяжелые, редкие слезы, и ветер шумел; но ему казалось, что не ветер шумит, а Лабда, старая парка, шепчет, лепечет ему на ухо страшные сказки о доме Флавиев.

Юлиану снится, что он – в холодной сырости, рядом с порфириновыми гробами, наполненными прахом царей, в подземелье, родовой гробнице Констанция Хлора; Лабда укрывает его, прячет в самый темный угол, между гробами, и укрывает больного Галла, дрожащего от лихорадки. Вдруг наверху, во дворце, из покоя в покой, под каменными сводами гулких, пустынных палат, раздается предсмертный вопль. Юлиан узнает голос отца, хочет ответить криком, броситься к нему. Но Лабда удерживает мальчика костлявыми руками и шепчет: «Молчи, молчи, а то придут!» – и закрывает его с головой. Потом раздаются торопливые шаги по лестнице – все ближе, ближе. Лабда крестит детей, шепчет заклинания. Стук в дверь, и, при свете факелов, врываются воины кесаря: они переодеты монахами; их ведет епископ Евсевий Никомидийский; панцири сверкают под черными рясами. «Во имя Отца и Сына и Св. Духа! Отвечайте, кто здесь?» Лабда с детьми притаилась в углу. И опять: «Во имя Отца и Сына и Св. Духа, – кто здесь?» И еще в третий раз. Потом, с обнаженными мечами, убийцы шарят. Лабда кидается к ногам их, показывает больного Галла, беспомощного Юлиана: «Побойтесь Бога! Что может сделать императору пятилетний мальчик?» И воины всех троих заставляют целовать крест в руках Евсевия, присягнуть новому императору. Юлиан помнит большой кипарисовый крест с эмалью, изображающей Спасителя: внизу, на темном старом деревце, видны следы свежей крови – обгащенной руки убийцы, державшего крест; может быть, это кровь отца его или одного из шести двоюродных братьев – Далматия, Аннибалиана, Непотиана, Константина Младшего, или других: через семь трупов перешагнул братоубийца, чтобы вступить на престол, и все совершилось во имя Распятого.

Юлиан проснулся от тишины и ужаса. Звонкие, редкие капли перестали падать. Ветер стих. Лампада, не мерцая, горела в углублении неподвижным, тонким и длинным языком. Он вскочил на постели, прислушиваясь к ударам собственного сердца. Тишина была невыносимая.

Вдруг внизу раздались громкие голоса и шаги, из покоя в покой, под каменными сводами гулких пустынных палат – здесь, в Мацеллуме, как там, в гробнице Флавиев. Юлиан вздрогнул; ему показалось, что он все еще бредит. Но шаги приближались, голоса становились явственней. Тогда он закричал:

– Брат! Брат! Ты спишь? Мардоний? Разве вы не слышите?

Галл проснулся. Мардоний, босой, с растрепанными седыми волосами, в ночной коротенькой тунике – евнух с морщинистым, желтым и одутловатым лицом, похожий на старую бабу, – бросился к потайной двери.

– Солдаты префекта! Одевайтесь скорей! бежать!

Но было поздно. Послышался лязг железа. Маленькую кованую дверь заперли снаружи. На каменных столбах лестницы мелькнул свет факелов и в нем пурпурное знамя драконария и блестящий крест с монограммой Христа на шлеме одного из воинов.

– Именем правоверного, блаженного августа, императора Констанция – я, Марк Скудило, трибун легиона Фретензис, беру под стражу Юлиана и Галла, сыновей патриарха!

Мардоний, преграждая путь солдатам, стоял перед закрытой дверью спальни, с воинственной осанкой, с мечом в руках; меч был тупой, никуда не годный: он служил старому педагогу только для того, чтобы во время уроков Илиады показывать ученикам, на живом примере, в условных телодвижениях, как сражался Гектор с Ахиллом; школьный Ахилл едва ли бы сумел зарезать и курицу. Теперь он размахивал этим мечом перед носом Публия по всем правилам военного искусства времен Гомера. Публия, который был пьян, это взбесило:

– Прочь с дороги, пузырь, старая падаль, раздувательный мех! Прочь, если не хочешь, чтобы я проткнул и выпустил из тебя воздух!

Он схватил за горло Мардония и отбросил его далеко, так, что тот ударился о стену и едва не упал. Скудило подбежал к дверям спальни и раскрыв их настежь.

Неподвижное пламя лампы всколыхнулось и побледнело в красном свете факелов. И трибун первый раз в жизни увидел двух последних потомков Констанция Хлора.

Галл казался высоким и крепким; но кожа у него была тонкая, белая и матовая, как у молодой девушки; глаза светло-голубые, ленивые и равнодушные; белокурые, как лен (общий знак Константинова рода), выющиеся волосы покрывали мелкими кудрями толстую, почти жирную шею. Несмотря на возмужалость тела и на легкий пух начинающейся бороды, восемнадцатилетний Галл теперь казался мальчиком: такое детское недоумение и ужас были на лице его; губы дрожали, как у маленьких детей, когда они готовы заплакать; он мигал беспомощно веками, розовыми, опухшими от сна, с очень светлыми ресницами, и, торопливо крестясь, шептал: «Господи, помилуй, Господи, помилуй!»

Юлиан был ребенок тощий, худенький, бледный; лицо некрасивое и неправильное; волосы жесткие, гладкие и черные, нос слишком большой; нижняя губа выдающаяся. Но поразительны были глаза его, делавшие лицо одним из тех, которых, раз увидев, нельзя забыть, – большие, странные, изменчивые, с недетским, напряженным и болезненно ярким блеском, который иногда казался сумасшедшим. Публий, много раз видевший в молодости Константина Великого, подумал:

«Этот мальчик будет похож на дядю».

Страх Юлиана перед солдатами исчез: он чувствовал злобу. Крепко стиснув зубы, перекинув через плечо барсовую шкуру с постели, он смотрел на Скудило пристально, исподлобья, и нижняя выдающаяся губа его дрожала; в правой руке, под барсовой шкурой, сжимал он рукоятку тонкого персидского кинжала, тайно подаренного Лабдой; острие было отравлено.

– Волчонок! – молвил один из легионеров, указывая на Юлиана, своему товарищу.

Скудило хотел уже переступить порог спальни, когда у Мардония явилась новая мысль. Он отбросил бесполезный меч, уцепился за платье трибуна и вдруг завопил пронзительным, неожиданным тонким бабьим голосом:

– Что вы делаете, негодяи? Как смеете оскорблять посланного императором Констанцием? Мне поручено отвезти ко двору этих царственных отроков. Август возвратил им свою милость. Вот приказ.

– Что он говорит? Какой приказ?

Скудило взглянул на Мардония: морщинистое, старушечье лицо свидетельствовало о том, что он, в самом деле, евнух. Трибун никогда раньше не видел Мардония, но хорошо знал, в какой милости евнухи при дворе императора.

Мардоний поспешно вынул из книгохранилищного ящика, с пергаментными свитками Гесиода и Гомера, сверток и подал его трибуну.

Скудило, развернув, побледнел: он прочел только первые слова, увидел имя императора, называвшего себя в эдикте «наша вечность», и не разобрал ни года, ни месяца; когда трибун заметил при свертке огромную, хорошо ему знакомую, государственную печать из темно-зеленого воска на позолоченных тесьмах, – в глазах у него помутилось, колени подогнулись.

– Прости! Это ошибка...

– Ах, вы бездельники! Прочь отсюда! Чтоб духу вашего здесь не было! Еще пьяные! Все будет известно императору!

Мардоний вырвал из дрожащих рук Скудило бумагу.

– Не губи меня! Все мы – братья, все мы – грешные люди. Умоляю тебя именем Христа!

– Знаю, знаю, что вы делаете именем Христа, негодяи! Прочь отсюда!

Бедный трибун подал знак отступления. Тогда Мардоний снова поднял тупой меч и, размахивая им, сделался похожим на воина из Илиады. Один только пьяный центурион рвался к нему и кричал:

– Пустите, пустите! Я проткну этот старый пузырь и посмотрю, как он лопнет! Пьяного увели под руки.

Когда шаги умолкли и Мардоний убедился, что опасность миновала, он громко захохотал; все дряблое, женоподобное тело скопца колыхалось от смеха; он забыл важность, приличную педагогу, и подпрыгивал на своих слабых голых ногах, в ночной тунике, крича от восторга:

– Дети мои, дети! Хвала Гермесу! Ловко мы их провели! Эдикт уже три года как отменен. Дураки, дураки!

Перед солнечным восходом Юлиан уснул крепким, спокойным сном. Он проснулся поздно, бодрый и веселый, когда голубое небо сияло в решетчатом высоком окне спальни.

### III

Утром был урок катехизиса. Богословие преподавал другой учитель, арианский пресвитер, с руками мокрыми, холодными и костлявыми, с уныло-светлыми, лягушачьими глазами, сгорбленный и высокий как шест, худой как щепка, монах Евтропий. У него была неприятная привычка, тихонько лизнув ладонь руки, быстро приглаживать ею облезлые, седенькие височки и непременно, тотчас же после того, вкладывая пальцы в пальцы, слегка пощелкивать суставами. Юлиан знал, что за одним движением неминуемо последует другое, и это раздражало его. Евтропий носил черную рясу, заплатанную, со многими пятнами, уверяя, что носит плохую одежду из смирения; на самом деле он был скряга.

Евсевий Никомидийский, духовный опекун Юлиана, избрал этого наставника.

Монах подозревал в своем питомце «тайную строптивость ума», которая, по мнению учителя, грозила Юлиану вечною погибелью, ежели он не исправится. Евтропий неумоимо говорил о тех чувствах, которые ребенок обязан питать к своему благодетелю, императору Констанцию. Объяснял ли он Новый Завет, или арианский догмат, или пророческое знамение, – все сводилось к этой цели, к этому «корню святого послушания и сыновней покорности». Казалось, подвиги смирения и любви, мученические жертвы – только ряд ступеней, по которым триумфатор Констанций восходит на престол. Но иногда, в то время, как арианский монах говорил о благодеяниях императора, оказанных ему, Юлиану, мальчик смотрел молча прямо в глаза учителю глубоким взором; он знал, что в это мгновение думает монах, так же, как тот знал, что думает ученик; и они об этом не говорили.

Но после того, если Юлиан останавливался, забыв перечисление имен ветхозаветных патриархов, или плохо выученную молитву, Евтропий, так же молча, с наслаждением, смотрел на него лягушачьими глазами и тихонько брал его за ухо двумя пальцами, как будто лаская; ребенок чувствовал, как медленно впивались в ухо его два острых, жестких ногтя.

Евтропий, несмотря на видимую угрюмость, обладал насмешливым и по-своему веселым нравом; он давал ученику самые нежные названия: «дражайший мой», «первенец души моей», «возлюбленный сын мой», и посмеивался над его царственным происхождением; каждый раз, ущипнув его за ухо, когда Юлиан бледнел не от боли, а от злости, монах произносил подобострастно:

– Не изволит ли гневаться твое величество на смиренного и худоумного раба Евтропия?

И лизнув ладонь, приглаживал височки, и слегка потрескивал пальцами, прибавляя, что злых и ленивых мальчиков очень бы хорошо поучить иногда лозою, что об этом упоминается и в Священном Писании: лоза темный и строптивый ум просвещает. Говорил он это только для того, чтобы смирить «бесовский дух гордыни» в Юлиане: мальчик знал, что Евтропий не посмеет исполнить угрозу; да и монах сам был втайне убежден, что ребенок скорее умрет, чем позволит себя высечь; и все-таки учитель почасту и подолгу говорил об этом.

В конце урока, при объяснении какого-то места из Священного Писания, Юлиану случилось заикнуться об антиподах, о которых слышал он от Мардония. Может быть, он сделал это нарочно, чтобы взбесить монаха; но тот залился тонким смехом, закрывая рот ладонью.

– И от кого ты слышал, дражайший, об антиподах? Ну, насмешил ты меня, грешного, насмешил! Знаю, знаю, у старого глупца Платона кое-что о них говорится. А ты и поверил, что люди вверх ногами ходят?

Евтропий стал обличать безбожную ересь философов: не постыдно ли думать, что люди, созданные по образу и подобию Божию, ходят на головах, издеваясь, так сказать, над твердью небесной? Когда же Юлиан, обиженный за любимых мудрецов, упомянул о круглости земли, Евтропий вдруг перестал смеяться и пришел в такую ярость, что, весь побагровев, затопал ногами.

– От Мардония-язычника наслушался ты этой лжи богопротивной!

Когда он сердился, то говорил, запинаясь, брызгая слюною; слюна эта казалась Юлиану ядовитой. Монах с ожесточением напал на всех мудрецов Эллады; он забыл, что перед ним ребенок, и произносил уже искренно целую проповедь, задетый Юлианом за больное место: старика Пифагора, «выжившего из ума», обвинял в бесстыдной дерзости; о бреднях Платона, казалось ему, и говорить не стоит; он просто называл их «омерзительными»; учение Сократа – «безрассудным».

– Почитай-ка о Сократе у Диогена Лаэртца, – сообщал он Юлиану злорадно, – найдешь, что он был ростовщиком; кроме того, запятнал себя гнуснейшими пороками, о коих и говорить непристойно.

Но особенную ненависть возбуждал в нем Эпикур:

– Я не считаю сего и стоящим ответа: зверство, с каким погружался он во все роды похотей, и низость, с какою он делался рабом чувственных удовольствий, довольно показывают, что он был не человек, а скот.

Успокоившись немного, принялся объяснять неуловимый оттенок арианского догмата, с такой же яростью нападая на православную церковь, которую называл еретической.

В окно, из сада, веяло свежестью. Юлиан делал вид, что внимательно слушает Евтропия; на самом деле думал он о другом – о своем любимом учителе Мардонии; вспоминал его мудрые беседы, чтения Гомера и Гесиода: как они были непохожи на уроки монаха!

Мардонии не читал, а пел Гомера, по обычаю древних рапсодов; Лабда смеялась, что он «воет, как пес на луну». И в самом деле, непривычным людям было смешно: старый евнух делал ударения на каждой стопе гекзаметра, размахивая в лад руками; и важность была на желтом, морщинистом лице его. Но тоненький бабий голосок становился все громче и громче. Юлиан не замечал уродства старика; холод наслаждения пробегал по телу мальчика; божественные гекзаметры переливались и шумели, как волны: он видел прощание Андромахи с Гектором, Одиссея, тоскующего по своей Итаке, на острове Калипсо, пред унылым пустынным морем. И сердце Юлиана щемила сладкая боль, тоска по Элладе – родине богов, родине всех, кто любит красоту. Слезы дрожали в голосе учителя, слезы текли по желтым щекам его.

Иногда Мардоний говорил ему о мудрости, о суровой добродетели, о смерти героев за свободу. О, как и эти речи были не похожи на речи Евтропия! Он рассказывал ему жизнь Сократа; когда доходил до Апологии перед афинским народом, то вскакивал и читал наизусть речь философа; лицо его делалось спокойным и немного презрительным: казалось – говорит не подсудимый, а судья народа; Сократ не просит милости; вся власть, все законы государства – ничто перед свободой духа человеческого; афиняне могут умертвить его, но не отнимут свободы и счастья у бессмертной души его. И когда этот скиф, варвар, купленный раб с берегов Борисфена, восклицал: «свобода!» – Юлиану казалось, что в слове этом такая красота, что перед ней бледнеют образы Гомера. И смотря широко открытыми, почти безумными глазами на учителя, весь дрожал он и холодел от восторга.

Мальчик проснулся от грез, почувствовав прикосновение к уху костлявых холодных пальцев. Урок катехизиса кончился. Став на колени, он прочел благодарственную молитву. Потом, вырвавшись от Евтропия, побежал к себе в келью, взял книгу и направился в любимый уголок сада, чтобы читать на свободе. Книга была запретная, *Симпозион*. богохульного и нечестивого Платона. На лестнице Юлиан нечаянно столкнулся с уходившим Евтропием.

– Погоди, погоди-ка, дражайший. Что это за книжечка у твоего величества?

Юлиан взглянул на него спокойно и подал книгу.

На пергаментном переплете прочел монах заглавие большими буквами: «Послания Апостола Павла». Он отдал не развернув.

– Ну, то-то же. Помни: я за твою душу отвечаю перед Богом и перед великим государем. Не читай еретических книг, в особенности же тех философов, суетную мудрость коих я довольно обличил сегодня.

Это была обычная хитрость мальчика: он завертывал запрещенные книги в переплеты с невинными заглавиями. Юлиан научился лицемерить с детства с недетским совершенством. Обманывал с наслаждением, в особенности Евтропия. Иногда притворялся, хитрил и лицемерил без нужды, по привычке, с чувством злобной и мстительной радости; обманывал всех, кроме Мардония.

В Мацеллуме, между бесчисленными праздными слугами и служанками, не было конца проискам, клеветам, сплетням, подозрениям, доносам. Придворная челядь, надеясь выслужиться, днем и ночью следила за царственными братьями, попавшими в немилость.

С тех пор, как Юлиан себя помнил, он ждал смерти со дня на день, и мало-помалу почти привык к страху, знал, что ни в доме, ни в саду не может сделать шага, который ускользнул бы от тысячи глаз. Ребенок многое слышал и понимал, но поневоле должен был делать вид, что не слышит и не понимает. Однажды донеслось к нему несколько слов из беседы Евтропия с подсланным от Констанция соглядатаем, в которой монах называл Юлиана и Галла «царственными щенятами». В другой раз, в крытом ходу, под окнами кухни, мальчик нечаянно подслушал, как старый пьяница-повар, раздраженный какой-то дерзостью Галла, говорил своей любовнице, рабыне, перебивавшей посуду: «Господь да сохранит мою душу, Присцилла, – удивляюсь я, как это их еще до сей поры не придушили!»

Когда Юлиан, после урока катехизиса, выбежал из дома и увидел зелень деревьев, он вздохнул свободнее.

Вечные снега двуглавой вершины Аргея белели на голубом небе. От близких ледников веяло прохладой. Просеки уходили вдаль непроницаемыми сводами южных дубов, с мелкими блестящими черно-зелеными листьями; кое-где прорывался луч и трепетал на зелени платанов. Только с одной стороны сада не было стен: там кончался он обрывом. Внизу тянулась пустыня до самого края неба, до Антитавра. Она дышала зноем. А в саду шумели студеные воды, низвергались с грохотом, били фонтанами, лепетали струйками под кущами олеандров. Мацеллум, столетья тому назад, был любимым приютом роскошного и полубезумного царя Каппадокии Ариарафа.

Юлиан, с книгой Платона, направился в уединенную пещеру, недалеко от обрыва. Там стоял козлоногий Пан, игравший на свирели, и маленький жертвенник. В каменную раковину струилась вода из львиной пасти. Вход был заткан желтыми розами; между ними виднелись холмы пустыни, туманно-голубые, волнообразные, как море; запах чайных роз наполнял пещеру. В ней было бы душно, если бы не ледяная струйка. Ветер приносил желто-белые лепестки, усыпал ими землю и воду. Слышно было жужжание пчел в темном теплом воздухе.

Юлиан, лежа на мху, читал «Пир»; многого не понимал; но прелесть книги была в том, что она запретная.

Отложив Платона, он опять завернул его в переплет Посланий Апостола Павла, тихонько подошел к жертвеннику Пана, взглянул на веселого бога как на старого сообщника и, разрыв груды сухих листьев, достал из внутренности жертвенника, проломанного и прикрытого дощечкой, предмет, старательно обвернутый тканью. Осторожно развернув, мальчик поставил его перед собой. Это было его создание, великолепный игрушечный корабль, «либурнская трирема». Он подошел к чаше водомета и опустил корабль в воду. Трирема закачалась на маленьких волнах. Все готово – три мачты, снасти, весла; нос позолочен; паруса – из шелковой тряпочки, подаренной Лабдой. Оставалось приделать руль. И мальчик принялся за работу. Стругая дощечку, изредка посматривал на даль, сквозившую между розами, на волнообразные холмы. И над игрушечным кораблем своим скоро забыл все обиды, всю свою ненависть и вечный страх смерти. Воображал себя затерянным среди волн, в пустынной пещере, высоко над

морем, хитроумным Одиссеем, строящим корабль, чтобы вернуться в милую отчизну. Но там, среди холмов, где белели крыши Цезарей, как пена на морских волнах, – крест, маленький блестящий крест над базиликой, мешал ему. Этот вечный крест! Он старался не видеть его, утешаясь триремой.

– Юлиан! Юлиан! Да где же он? В церковь пора. Евтропий зовет тебя в церковь!

Мальчик вздрогнул и поспешно спрятал трирему в отверстие жертвенника; потом поправил волосы, одежду; и когда он выходил из пещеры, лицо его приняло снова непроницаемое, недетское выражение глубокого лицемерия, словно жизнь от него отлетела.

Держа Юлиана за руку своей холодной костлявой рукой, Евтропий повел его в церковь.

## IV

Арианская базилика св. Маврикия построена была почти целиком из камней разрушенного храма Аполлона.

Священный двор, «атриум», окружали с четырех сторон ряды столбов. Посредине журчал фонтан для омовения молящихся. В одном из боковых притворов была древняя гробница из резного потемневшего дуба; в ней покоились чудотворные мощи святого Мамы. Евтропий заставлял Юлиана и Галла строить каменную раку над мощами. Работа Галла, который считал ее приятным телесным упражнением, подвигалась; но стенка Юлиана то и дело рушилась. Евтропий объяснил это тем, что св. Мама отвергает дар отрока, одержимого духом бесовской гордыни.

Около гробницы толпились больные, ждавшие исцеления. Юлиан знал, зачем они приходят: у одного арианского монаха были в руках весы; богомольцы – многие из далеких селений, отстоявших на несколько парасангов тщательно взвешивали куски льняной, шелковой или шерстяной ткани и, положив их на гроб св. Мамы, молились подолгу – иногда целую ночь до утра; потом ту же ткань снова взвешивали, чтобы сравнить с прежним весом; если ткань была тяжелее, значит, молитва исполнена: благодать святого вошла, подобно ночной росе, – впиталась в шелк, лен или шерсть, и теперь ткань могла исцелять недуги. Но часто молитва оставалась неслышанной, ткань не тяжелела, и богомольцы проводили у гроба дни, недели, месяцы. Здесь была одна бедная женщина, старица Феодула: одни считали ее полоумной, другие святой; уже целые годы не отходила она от гробницы Мамы; больная дочь, для которой старица сначала просила исцеления, давно умерла, а Феодула по-прежнему молилась о кусочке полинявшей, истрепанной ткани.

Три двери из атриума вели в арианскую базилику: одна – в мужское отделение, другая – в женское, третья – в отделение для монахов и клира.

Вместе с Галлом и Евтропием, Юлиан вошел в среднюю дверь. Он был анагностом – церковным чтецом у св. Маврикия. Его облекала длинная черная одежда с широкими рукавами; волосы, умащенные елеем, придерживались тонкой тесьмой, для того чтобы при чтении не падали на глаза.

Он прошел среди народа, скромно потупившись. Бледное лицо почти непроизвольно принимало выражение лицемерного, необходимого, давно привычного смирения.

Он взошел на высокий арианский амвон.

Живопись на одной из стен изображала мученический подвиг св. Евфимии: палач схватил голову страдальцы и держал ее откинутой назад, неподвижно; другой, открыв ей рот щипцами, приближал к нему чашу, должно быть, с расплавленным свинцом. Рядом изображено было другое мучение: та же Евфимия привешена к дереву за руки, и палач стругает орудием пытки ее окровавленные, девственные, почти детские члены. Внизу была надпись: «Кровью мучеников, Господи, церковь Твоя украшается, как багрянницей и виссоном».

На противоположной стене изображены были грешники, горящие в аду, над ними рай со святыми угодниками; один из них срывал румяный плод с дерева, другой пел, играя на гусях, а третий наклонился, облокотившись на облако, и смотрел на адские муки, с тихой усмешкой. Внизу надпись: «там будет плач и скрежет зубов».

Больные от гроба св. Мамы вошли в церковь; это были хромые, слепые, калеки, ослабленные, дети на костылях, похожие на стариков, бесноватые, юродивые, – бледные лица с воспаленными веками, с выражением тупой, безнадежной покорности. Когда хор умолкал, в тишине слышались сокрушенные вздыхания церковных вдов калугрий, в темных одеждах, или позвякивание вериг старца Памфила: в продолжение многих лет Памфил ни с одним чело-

веком не молвил слова и только повторял; «Господи! Господи! дай мне слезы, дай мне умиление, дай мне память смертную».

Воздух был теплый, душный, как в подземелье – тяжелый, пропитанный ладаном, запахом воска, гарью лампад, дыханием больных.

В тот день Юлиан должен был читать Апокалипсис.

Проносились страшные образы Откровения: бледный конь в облаках, имя которому Смерть; племена земные тоскуют, предчувствуя кончину мира; солнце мрачно, как власяница, луна сделалась как кровь; люди говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять? Повторялись пророчества: «Люди будут искать смерти и не найдут ее; пожелают умереть и смерть убежит от них». Раздавался вопль: «блаженны мертвые!» – Это было кровавое избивание народов; виноград брошен в великое точило гнева Божия, и ягоды истоптаны, и потекла кровь из точила даже до узд конских, на тысячу шестьсот стадий. «И люди проклинали Бога небесного от страданий своих; и не раскаялись в делах своих. И Ангел возопил: кто поклоняется Зверю и образу его, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере, перед святыми Ангелами и Агнцем. И дым мучений их будет восходить во веки веков, и не будет иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющийся Зверю и образу его».

Юлиан умолк; в церкви была тишина; в испуганной толпе слышались только тяжелые вздохи, удары головой о плиты и звяканья цепей юродивого: «Господи! Господи! Дай мне слезы, дай мне умиление, дай мне память смертную!»

Мальчик взглянул вверх, на огромный полукруг мозаики между столбами свода: это был арианский образ Христа – грозный, темный, исхудалый лик в золотом сиянии и диадеме, похожей на диадему византийских императоров, почти старческий, с длинным тонким носом и строго сжатыми губами; десницей благословлял он мир; в левой руке держал книгу; в книге было написано: «Мир вам. Я свет мира». Он сидел на великолепном престоле, и римский император – Юлиану казалось, что это Констанций, – целовал Ему ноги.

А между тем, там, внизу, в полумраке, где теплилась одна лишь лампада, виднелся мраморный барельеф на гробнице первых времен христианства. Там были изваяны маленькие нежные Нереиды, пантеры, веселые тритоны; и рядом – Моисей, Иона с китом, Орфей, укрощающий звуками лиры хищных зверей, ветка оливы, голубь и рыба – простодушные символы детской веры; среди них Пастырь Добрый, несущий Овцу на плечах, заблудшую и найденную Овцу – душу грешника. Он был радостен и прост, этот босоногий юноша, с лицом безбородым, смиренным и кротким, как лица бедных поселян; у него была улыбка тихого веселия. Юлиану казалось, что никто уже не знает и не видит Доброго Пастыря; и с этим маленьким изображением иных времен для него связан был какой-то далекий, детский сон, который иногда хотел он вспомнить и не мог. Отрок с овцой на плечах смотрел на него, на него одного, с таинственным вопросом. И Юлиан шептал слово, слышанное от Мардония: «Галилеянин!»

И в это мгновение, упав из окна, косые лучи солнца задрожали столбом в облаке ладана; и тихо колеблясь, как будто подняло оно вспыхнувший золотым сиянием грозный, темный лик Христа. Хор торжественно грянул:

«Да молчит всякая плоть человека и да стоит со страхом и трепетом, и ничто же земное в себе да помышляет. Царь бо царствующих и Господь господствующих приходит заклатися и датися в снедь верным. Предходят же Сему лица Ангельские, со всяким началом и властью, многоочитии херувими и шестокрилатии серафими закрывающе и вопиюще песнь: Аллилуиа! Аллилуиа! Аллилуиа!»

И песнь, как буря, пронеслась над склоненными головами молящихся.

Образ босоногого юноши, Доброго Пастыря, уходил в неизмеримую даль, но все еще смотрел на Юлиана с вопросом. И сердце мальчика сжималось не от благоговения, а от ужаса перед этой тайной, которую во всю жизнь не суждено ему было разгадать.

## V

Из базилики вернулся он в Мацеллум, захватил с собой готовую, тщательно завернутую трирему, и никем не замеченный (Евтропий уехал на несколько дней) выскользнул из ворот крепости и побежал мимо церкви св. Маврикия к соседнему храму Афродиты.

Роща богини соприкасалась с кладбищем христианской церкви. Вражда и споры, даже тяжбы между двумя храмами, никогда не прекращались. Христиане требовали разрушения капища. Жрец Олимпиодор жаловался на церковных сторожей: по ночам они тайно вырубали вековые кипарисы заповедной рощи и рыли могилы для христианских покойников в земле Афродиты.

Юлиан вступил в рощу. Теплый воздух охватил его. Полуденный зной выжал из серой волокнистой коры кипарисов капли смолы. Юлиану казалось, что в полумраке веет дыхание Афродиты.

Между деревьями белели изваяния. Здесь был Эрос, натягивающий лук; должно быть, церковный сторож, издеваясь над идолом, отбил мраморный лук: вместе с двумя руками бога, оружие любви покоилось в траве, у подножия статуи; но безрукий мальчик по-прежнему, выставив одну пухлую ножку вперед, целился с резвой улыбкой.

Юлиан вошел в домик жреца Олимпиодора. Комнаты были маленькие, тесные, почти игрушечные, но уютные; никакой роскоши, скорее бедность; ни ковров, ни серебра; простые каменные полы, деревянные скамьи и стулья, дешевые амфоры из обожженной глины. Но в каждой мелочи было изящество. Ручка простой кухонной лампы изображала Посейдона с трезубцем: это была древняя искусная работа. Иногда Юлиан подолгу любовался на стройные очертания простой глиняной амфоры с дешевым оливковым маслом. Всюду на стенах виднелась легкая живопись: то Нереида, сидящая верхом на водяном чешуйчатом коне; то пляшущая молодая богиня в длинном пеплуме с выющимися складками.

Все смеялось в домике, облитом солнечным светом: смеялись Нереиды на стенах, пляшущие богини, тритоны, даже морские чешуйчатые кони; смеялся медный Посейдон на ручке лампы; тот же смех был и на лицах обитателей дома; они родились веселыми; им довольно было двух дюжин вкусных оливок, белого пшеничного хлеба, кисти винограда, нескольких кубков вина, смешанного с водою, чтобы счесть это за целый пир, и чтобы жена Олимпиодора, Диофана, в знак торжества, повесила на двери лавровый венок.

Юлиан вошел в садик атриума. Под открытым небом бил фонтан. Рядом, среди нарциссов, аканфов, тюльпанов и мирт стояло небольшое бронзовое изваяние Гермеса, крылатого, смеющегося, как все в доме, готового вспорхнуть и улететь. Над цветником на солнце вились пчелы и бабочки.

Под легкой тенью портика на дворе Олимпиодор и его семнадцатилетняя дочь Амариллис играли в изящную аттическую игру – коттабу: на столбике, вбитом в землю, поперечная переключина качалась, подобно коромыслу весов; к обоим концам ее привешены небольшие чашечки; под каждой подставлен сосуд с водой и с маленьким медным изваянием; надо было, с некоторого расстояния, плеснуть из кубка вином так, чтобы попасть в одну из чашек, и чтобы, опустившись, ударились она об изваяние.

– Играй, играй же. За тобой очередь! – кричала Амариллис.

– Раз, два, три!

Олимпиодор плеснул и не попал; он смеялся детским смехом; странно было видеть высокого человека с проседью в волосах, увлеченного игрою, подобно ребенку.

Девушка красивым движением голый руки, откинув лиловую тунику, плеснула вином – и чашечка коттабы зазвенела, ударившись.

Амариллис захлопала в ладоши и захохотала.

Вдруг в дверях увидели Юлиана.

Все начали целовать его и обнимать. Амариллис кричала:

– Диофана! Где же ты? Посмотри, какой гость! Скорее! Скорее!

Диофана прибежала из кухни.

– Юлиан, мальчик мой милый! Что ты, будто похудел? Давно мы тебя не видали...

И она прибавила, сияющая от веселья:

– Радуйтесь, дети мои. Сегодня будет у нас пир. Я приготовлю венки из роз, зажарю три окуня и сготовлю сладкие инбирные печенья...

В эту минуту молодая рабыня подошла и шепнула Олимпиодору, что богатая патрицианка из Цезарей желает его видеть, имея дело к жрецу Афродиты. Он вышел. Юлиан и Амариллис стали играть в коттабу.

Тогда неслышно на пороге появилась десятилетняя тонкая, бледная и белокурая девочка, младшая дочь Олимпиодора, Психея. У нее были голубые, огромные и печальные глаза. Одна во всем доме казалась она не посвященной Афродите, чуждой общему веселью. Она жила отдельной жизнью, оставаясь задумчивой, когда все смеялись, и никто не знал, о чем она скорбит, чему радуется. Отец считал ее жалким существом, неизлечимо больной, испорченной недобрым взглядом, чарами вечных врагов своих, галилеян: они из мести отняли у него ребенка; чернокудрая Амариллис была любимой дочерью Олимпиодора; но мать тайком баловала Психею и с ревнивой страстностью любила больного ребенка, не понимая внутренней жизни его.

Психея, скрываясь от отца, ходила в базилику св. Маврикия. Не помогали ни ласки матери, ни мольбы, ни угрозы. Жрец в отчаянии отступился от Психеи. Когда говорили о ней, лицо его омрачалось и принимало недоброе выражение. Он уверил, будто бы за нечестие ребенка виноградник, прежде благословляемый Афродитой, стал приносить меньше плодов, ибо довольно было маленького золотого крестика, который девочка носила на груди, для того чтобы осквернить храм.

– Зачем ты ходишь в церковь? – спросил ее однажды Юлиан.

– Не знаю. Там хорошо. Ты видел Доброго Пастыря?

– Да, видел. Галилеянин! Откуда ты про Него знаешь?

– Мне старушка Феодула сказывала. С тех пор я хожу в церковь. И отчего это, скажи мне, Юлиан, отчего они все так не любят Его?

Олимпиодор вернулся, торжествующий, и рассказал о своей беседе с патрицианкой: это была молодая, знатная девушка; жених разлюбил ее; она думала, что он околдован чарами соперницы; много раз ходила она в христианскую церковь, усердно молилась на гробнице св. Мамы. Ни посты, ни бдения, ни молитвы не помогли. «Разве христиане могут помочь!» – заключил Олимпиодор с презрением и взглянул исподлобья на Психею, которая внимательно слушала.

– И вот христианка пришла ко мне: Афродита исцелит ее!

Он показал с торжеством двух связанных белых голубков: христианка просила принести их в жертву богине.

Амариллис, взяв голубков в руки, целовала нежные розовые клювы и уверяла, что их жалко убивать.

– Отец, знаешь что? Мы принесем их в жертву, не убивая.

– Как? Разве может быть жертва без крови?

– А вот как. Пустим на свободу. Они улетят прямо в небо, к престолу Афродиты. Не правда ли? Богиня там, в небе. Она примет их. Позволь, пожалуйста, милый!

Амариллис так нежно целовала его, что он не имел духа отказать.

Тогда девушка развязала и пустила голубей. Они затрепетали белыми крыльями с радостным шелестом и полетели в небо – к престолу Афродиты. Заслоняя глаза рукой, жрец смотрел, как исчезает в небе жертва христианки. И Амариллис прыгала от восторга, хлопая в ладоши:

– Афродита! Афродита! Прими бескровную жертву!

Олимпиадор ушел. Юлиан торжественно и робко приступил к Амариллис. Голос его дрогнул, щеки вспыхнули, когда тихо произнес он имя девушки.

– Амариллис! Я принес тебе...

– Да, я уже давно хотела спросить, что это у тебя?

– Трирема...

– Трирема? Какая? Для чего? Что ты говоришь?

– Настоящая, либурнская...

Он стал быстро разворачивать подарок, но вдруг почувствовал неодолимый стыд.

Амариллис смотрела в недоумении.

Он совсем смутился и взглянул на нее с мольбою, опуская игрушечный корабль в маленькие волны фонтана.

– Ты не думай, Амариллис, – трирема настоящая. С парусами. Видишь, плавает и руль есть...

Но Амариллис громко хохотала над подарком:

– На что мне трирема? Недалеко с ней уплывешь. Это корабль для мышей или цикад. Подари лучше Психее: она будет рада. Видишь, как смотрит.

Юлиан был оскорблен. Он старался принять равнодушный вид, но чувствовал, что слезы сжимают горло его, концы губ дрожат и спускаются. Он сделал отчаянное усилие, удержался от слез и сказал:

– Я вижу, что ты ничего не понимаешь...

Подумал и прибавил:

– Ничего не понимаешь в искусстве!

Но Амариллис еще громче засмеялась. К довершению обиды позвали ее к жениху. Это был богатый самосский купец. Он слишком сильно душился, одевался безвкусно и в разговоре делал грамматические ошибки. Юлиан его ненавидел. Весь дом омрачился, и радость исчезла, когда он узнал, что пришел самосец.

Из соседней комнаты доносилось радостное щебетание Амариллис и голос жениха.

Юлиан схватил свою дорогую, настоящую, либургскую трирему, стоившую ему столько трудов, сломал мачту, сорвал паруса, перепутал снасти, растоптал, изуродовал корабль, не говоря ни слова, с тихой яростью, к ужасу Психеи.

Амариллис вернулась. На лице ее были следы чужого счастья – тот избыток жизни, чрезмерная радость любви, когда молодым девушкам все равно, кого обнимать и целовать.

– Юлиан, прости меня; я обидела тебя. Ну, прости же, дорогой мой! Видишь, как я тебя люблю... люблю...

И прежде чем он успел опомниться, Амариллис, откинув тунику, обвила его шею голыми, свежими руками. Сердце его упало от сладкого страха: он увидел так близко от себя, как никогда еще, большие, влажно-черные глаза; от нее пахло сильно, как от цветов. Голова мальчика закружилась. Она прижимала тело его к своей груди. Он закрыл глаза и почувствовал на губах поцелуй.

– Амариллис! Амариллис! Где же ты?

Это был голос самосца. Юлиан изо всей силы оттолкнул девушку. Сердце его сжалось от боли и ненависти.

Он закричал: «Оставь, оставь меня!» – вырвался и убежал.

– Юлиан! Юлиан!

Не слушая, бежал он прочь из дома, через виноградник, через кипарисовую рощу и остановился только у храма Афродиты.

Он слышал, как его звали; слышал веселый голос Диофаны, возвещавшей, что инбирное печенье готово, и не отвечал. Его искали. Он спрятался в лавровых кустах у подножья Эроса и переждал. Подумали, что он убежал в Мацеллум: в доме привыкли к его угрюмым странностям.

Когда все утихло, он вышел из засады и взглянул на храм богини любви.

Храм стоял на холме, открытый со всех сторон. Белый мрамор ионических колонн, облитый солнцем, с негой купался в лазури; и темная теплая лазурь радовалась, обнимая этот мрамор, холодный и белый, как снег; по обоим углам фронтона увенчан был двумя акротэрами в виде грифонов: с поднятою когтистой лапою, с открытыми орлиными клювами, с круглыми женскими сосцами вырезывались они гордыми, строгими очертаниями на голубых небесах. Юлиан по ступеням вошел в портик, тихонько отворил незапертую медную дверь и вступил во внутренность храма, в священный наос.

На него повеяло тишиной и прохладой.

Склонившееся солнце еще озаряло верхний ряд капителей с тонкими завитками, похожими на кудри; а внизу был уже сумрак. С треножника пахло пепелом сожженной мирры.

Юлиан робко поднял глаза, прислонившись к стене, притаив дыхание, – и замер.

Это была она. Под открытым небом стояла посредине храма только что из пены рожденная, холодная, белая Афродита-Анадиомена, во всей своей нестыдящейся наготе. Богиня как будто с улыбкой смотрела на небо и море, удивляясь прелести мира, еще не зная, что это – ее собственная прелесть, отраженная в небе и море, как в вечных зеркалах. Прикосновение одежд не оскверняло ее. Такой стояла она там, вся целомудренная и вся нагая, как это безоблачное, почти черно-синее небо над ее головой.

Юлиан смотрел ненасытно. Время остановилось. Вдруг он почувствовал, что трепет благоговения пробежал по телу его. И мальчик в темных монашеских одеждах опустился на колени перед Афродитой, подняв лицо, прижав руки к сердцу.

Потом все так же вдали, все так же робко, сел на подножие колонны, не отводя от нее глаз; щека прислонилась к холодному мрамору. Тишина сходила в душу. Он задремал; но и сквозь сон чувствовал ее присутствие: она опускалась к нему ближе и ближе; тонкие, белые руки обвили вокруг его шеи. Ребенок отдавался с бесстрастной улыбкой бесстрастным объятиям. До глубины сердца проникал холод белого мрамора. Эти святые объятия не походили на болезненно страстные, тяжкие, знойные объятия Амарилис. Душа его освобождалась от земной любви. То был последний покой, подобный амброзийной ночи Гомера, подобный сладкому отдыху смерти...

\* \* \*

Когда он проснулся, было темно. В четырехугольнике открытого неба сверкали звезды. Серп луны кидал сияние на голову Афродиты.

Юлиан встал. Должно быть, Олимпиодор приходил, но не заметил или не хотел разбудить мальчика, угадав его горе. Теперь на бронзовом треножнике рдели угли, и струйки благовонного дыма подымались к лицу богини.

Юлиан подошел, взял из хризолитовой чаши между ногами треножника несколько зерен душистой смолы и бросил на угли алтаря. Дым за клубился обильнее. И розовый отблеск огня вспыхнул, как легкий румянец жизни на лице богини, сливаясь с блеском новорожденного месяца. Чистая Афродита-Урания как будто сходила от звезд на землю.

Юлиан наклонился и поцеловал ноги изваяния. Он молился ей:

– Афродита! Афродита! Я буду любить тебя вечно.

И слезы падали на мраморные ноги изваяния.

## VI

На берегу Средиземного моря, в одном из грязных и бедных предместий Селевки Сирийской, торговой гавани Великой Антиохии, кривые, узкие улицы выходили на площадь у набережной; моря не было видно из-за леса мачт и снастей.

Дома состояли из беспорядочно нагроможденных клетушек, обмазанных глиной. С улицы прикрывались они иногда истрепанным ковром, похожим на грязное лохмотье, или циновкой. Во всех этих углах, клетушках, переулочках, с тяжелым запахом помоев, прачешень и бань для рабочих, копошился пестрый, нищий, голодный сброд.

Солнце, сжигавшее засухой, землю, закатилось. Наступали сумерки. Зной, пыль, мгла еще тягостней повисли над городом. С рынка веял удушливый запах мяса и овощей, пролежавших весь день на жаре. Полуголые рабы с кораблей носили по сходням тюки на плечах; одна сторона головы была у них выбрита; сквозь лохмотья виднелись рубцы от ударов; у многих чернели во все лицо клейма, выжженные каленым железом: две латинские буквы С и F, что значило – Cave Furem, Берегись Вора.

Зажигались огни. Несмотря на приближение ночи, суетня и говор в тесных переулках не утихали. Из соседней кузницы слышались раздражающие уши удары молота по железным листам; вспыхивало зарево горна; клубилась копоть. Рядом рабы-хлебопеки, голые, покрытые с головы до ног белою мучною пылью, с красными воспаленными от жара веками, сажали хлеба в печи. Сапожник в открытой лавчонке, откуда пахло клеем и кожей, тачал сапоги при свете лампадки, сидя на корточках и во все горло распевая песни на языке варваров. Из клетушки в клетушку, через переулок, две старухи, настоящие ведьмы, с растрепанными седыми волосами, кричали и бранились, протягивая руки, чтобы сцепиться, из-за веревки, на которую вешали сушиться тряпье. А внизу торговец, спеша издалека к утру на рынок, на костлявой ободранной кляче, в ивовых корзинах вез целую гору несвежей рыбы; прохожие от невыносимого смрада отворачивались и ругались. Толстощекий жиденок с красными кудрями, наслаждаясь оглушительным громом, колотил в огромный медный таз. Другие дети – крохотные, бесчисленные, рождавшиеся и умиравшие каждый день сотнями в этой нищете, – валялись, визжа как поросята, вокруг луж с апельсинными корками, с яичными скорлупами. В еще более темных и подозрительных переулках, где жили мелкие воришки, где из кабачков пахло сыростью и кислым вином, корабельщики со всех концов света ходили, обнявшись, и орали пьяные песни. Над воротами лупанара повешен был фонарь с бесстыдным изображением, посвященным богу Приапу, и когда на дверях приподымали покров – центону, внутри виднелся тесный ряд коморочек, похожих на стойла; над каждой была надпись с ценою; в душной темноте белели голые тела женщин.

И надо всем этим шумом и гамом, надо всей этой человеческой грязью и бедностью, слышались далекие вздохи прибоя, ропот невидимого моря.

У самых окон подвальной кухни финикийского купца оборванцы играли в кости и болтали. Из кухни долетал теплыми клубами чад кипящего жира, запах пряностей и жареной дичи. Голодные вдыхали его, закрывая глаза от наслаждения.

Христианин, красильщик пурпура, выгнанный с богатой тирской фабрики за воровство, говорил, с жадностью обсасывая лист мальвы, выброшенный поваром:

– Что в Антиохии, добрые люди, делается, об этом и говорить-то на ночь страшно. Намедни голодный народ растерзал префекта Феофила. А за что. Бог весть. Когда дело сделали, вспомнили, что бедняга был добрый и благочестивый человек. Говорят, цезарь на него указал народу...

Дряхлый старичок, очень искусный карманный воришка, произнес:

– Я видел однажды цезаря. Не знаю. Мне понравился. Молоденький; волоски светлые, как лен; личико сытое, но добренькое. А сколько убийств, Господи, сколько убийств! Разбой. По улицам ходить страшно.

– Все это – не от цезаря, а от жены его, от Константины. Ведьма!

Странной наружности люди подошли к разговаривавшим и наклонились, как будто желая принять участие в беседе. Если бы свет от кухонной печи был сильнее, можно было бы рассмотреть, что лица их подмалеваны, одежды замараны и изорваны неестественно, как у нищих в театре. Несмотря на лохмотья, руки у самого грязного были белые, тонкие, с розовыми, обточенными ногтями.

Один из них сказал товарищу тихонько на ухо:

– Слушай, Агамемнон: здесь тоже говорят о цезаре.

Тот, кого звали Агамемноном, казался пьяным; он пошатывался; борода, неестественно густая и длинная, делала его похожим на сказочного разбойника; но глаза были добрые, ясно-голубые, с детским выражением. Товарищи испуганным шепотом удерживали его:

– Осторожнее!

Карманный воришка заговорил жалобным голосом, точно запел:

– Нет, вы только скажите мне, мужи-братья, разве это хорошо? Хлеб дорожает каждый день; люди мрут, как мухи. И вдруг... нет, вы только рассудите, пристойно ли это? Намедни из Египта приезжает огромный трехмачтовый корабль; обрадовались, думаем – хлеб. Цезарь, говорят, выписал, чтобы накормить народ. И что же, что бы это было, добрые люди – ну, как вы думаете, что? Пыль из Александрии, особенная, розовая, ливийская, для натирания атлетов, пыль – для собственных придворных гладиаторов цезаря, пыль вместо хлеба? Разве это хорошо? – заключил он, делая негодующие знаки ловкими воровскими пальцами.

Агамемнон подталкивал товарища:

– Спроси имя. Имя!

– Тише... нельзя! Потом...

Чесальщик шерсти заметил:

– У нас, в Селевкии, еще спокойно. А в Антиохии предательства, доносы, розыски...

Красильщик, который в последний раз лизнул мальву и отбросил ее, убедившись, что она потеряла вкус, проворчал себе под нос мрачно:

– А вот, даст Бог, человеческое мясо и кровь будут скоро дешевле хлеба и вина...

Чесальщик шерсти, горький пьяница и философ, тяжело вздыхал:

– Ох-ох-ох! Бедные мы людишки! Блаженные олимпийцы играют нами, как мячиками – то вправо, то влево, то вверх, то вниз: люди плачут, а боги смеются.

Товарищ Агамемнона успел вмешаться в разговор. Ловко, как будто небрежно, выспросил имена; подслушал даже то, что странствующий сапожник сообщил на ухо чесальщику о предполагаемом заговоре среди солдат претории. Потом, отойдя, записал имена разговаривавших изящным стилосом на восковые дощечки, где хранилось много имен.

В это время с рыночной площади донеслись хриплые, глухие, подобные реву какого-то подземного чудовища, не то смеющиеся, не то плачущие звуки водяного органа: слепой раб-христианин за четыре оболы в день, у входа в балаган, накачивал воду, производившую в машине эти смешные и плачевные звуки.

Агамемнон потащил спутников в балаган, обтянутый, наподобие палатки, голубою тканью с серебряными звездами. Фонарь озарял черную доску – объявление о предстоящем зрелище, написанное мелом по-сирийски и по-гречески.

Внутри было душно. Пахло чесноком и копотью масляных плошек. В дополнение органа, пищали две пронзительные флейты, и черный эфиоп, вращая белками, ударял в бубны.

Плясун прыгал и кувыркался на канате, хлопая в лад руками. Он пел модную песенку:

Huc, huc convenite nunc  
Spatolocinaedi!  
Pedem tendite,  
Cursum addite.<sup>2</sup>

Этот худой курносый плясун был стар, отвратителен и весел. С бритого лба его струились капли пота, смешанного с румянами; морщины, залепленные белилами, походили на трещины стен, у которой известка тает под дождем.

Когда он удалился, орган и флейта умолкли. На подмостки выбежала пятнадцатилетняя девочка, чтобы исполнить знаменитую, до безумия любимую народом, пляску – кордакс. Отцы церкви громили ее, римские законы запрещали – ничто не помогало: кордакс плясали всюду, бедные и богатые, жены сенаторов и уличные плясуньи.

Агамемнон проговорил с восторгом:

– Что за девочка!

Благодаря кулакам спутников, он пробился в первый ряд.

Худенькое, смуглое тело нубийки обвивала, только вокруг бедер, почти воздушная, бесцветная ткань; волосы подымались над головой мелкими, пушисто-черными кудрями, как у женщин Эфиопии; лицо чистого египетского облика напоминало лица сфинксов.

Кроталистрия начала плясать, как будто скучая, лениво и небрежно. Над головой, в тонких руках, медные бубны-кроталии чуть слышно бряцали.

Потом движения ускорились. И вдруг, из-под длинных ресниц, сверкнули желтые глаза, прозрачные, веселые, как у хищных зверей. Она выпрямилась, и медные кроталии зазвенели пронзительно, с таким вызовом, что вся толпа дрогнула.

Тогда девочка закружилась, быстрая, тонкая, гибкая, как змейка. Ноздри ее расширились. Из горла вырвался странный крик. При каждом порывистом движении две маленькие, темные груди, как два спелых плода под ветром, трепетали, стянутые зеленой шелковой сеткой, и острые, сильно нарумяненные концы их алели, выступая из-под сетки.

Толпа ревела от восторга. Агамемнон безумствовал, товарищи держали его за руки.

Вдруг девочка остановилась, как будто в изнеможении. Легкая дрожь пробежала с головы до ног по смуглым членам. Наступила тишина. Над закинутой головой нубийки, с почти неуловимым, замирающим звоном, быстро и нежно, как два крыла пойманной бабочки, трепетали бубны. Глаза потухли; но в самой глубине их мерцали две искры. Лицо было строгое, грозное. А на слишком толстых, красных губах, на губах сфинкса, дрожала слабая улыбка. И в тишине медные кроталии замерли.

Толпа так закричала, захлопала, что голубая ткань с блестками всколебалась, как парус под бурей, и хозяин думал, что балаган рухнет.

Спутники не могли удержать Агамемнона. Он бросился, приподняв занавес, на сцену, через подмостки, в коморку для танцовщиц и мимов.

Товарищи шептали ему на ухо:

– Подожди! Завтра все будет сделано. А теперь могут...

Агамемнон перебил:

– Нет, сейчас!

Он подошел к хозяину, хитрому седому греку Мирмексу, и сразу, почти без объяснений, высыпал ему в полу туники пригоршню золотых монет.

– Кроталистрия – твоя?

– Да. Что угодно моему господину?

Мирмекс с изумлением смотрел то на разорванную одежду Агамемнона, то на золото.

---

<sup>2</sup> Эй, вы! Соберем мальчиголоубцев изощренных! Все мчитесь сюда быстрой ногой, пятою легкой... (лат.)

– Как тебя зовут, девочка?

– Филлис.

Он и ей дал денег, не считая. Грек что-то шепнул на ухо Филлис. Она высоко подбросила звонкие монеты, поймала их на ладонь, и, засмеявшись, сверкнула на Агамемнона своими желтыми глазами. Он сказал:

– Пойдем со мною.

Филлис накинула на голые смуглые плечи темную хламиду и выскользнула вместе с ним на улицу.

Она спросила:

– Куда?

– Не знаю.

– К тебе?

– Нельзя. Я живу в Антиохии.

– А я только сегодня на корабле приехала и ничего не знаю.

– Что же делать?

– Подожди, я видела давеча в соседнем переулке незапертый храм Приапа. Пойдем туда.

Филлис потащила его, смеясь. Товарищи хотели следовать. Он сказал:

– Не надо! Оставайтесь здесь.

– Берегись! Возьми по крайней мере оружие. В этом предместье ночью опасно.

И вынув из-под одежды короткий меч, вроде кинжала, с драгоценной рукояткой, один из спутников подал его почтительно.

Спотыкаясь во мраке, Агамемнон и Филлис вошли в глубокий темный переулок, недалеко от рынка.

– Здесь, здесь! Не бойся. Входи.

Они вступили в преддверье маленького пустынного храма; лампада на цепочках, готовая потухнуть, слабо освещала грубые, старые столбы.

– Притвори дверь.

И Филлис неслышно сбросила на каменный пол мягкую, темную хламиду. Она беззвучно хохотала. Когда Агамемнон сжал ее в объятьях, ему показалось, что вокруг тела его обвилась страшная, жаркая змея. Желтые хищные глаза сделались огромными.

Но в это мгновение из внутренности храма раздалось пронзительное гоготание и хлопанье белых крыльев, поднявших такой ветер, что лампада едва не потухла.

Агамемнон выпустил из рук Филлис и пролепетал:

– Что это?..

В темноте мелькнули белые призраки. Струсивший Агамемнон перекрестился.

Вдруг что-то сильно ущипнуло его за ногу. Он закричал от боли и страха; схватил одного неизвестного врага за горло, другого пронзил мечом. Поднялся оглушительный крик, визг, гоготание и хлопанье. Лампада в последний раз перед тем, чтобы угаснуть, вспыхнула – и Филлис закричала, смеясь:

– Да это гуси, священные гуси Приапа! Что ты наделал!..

Дрожащий и бледный победитель стоял, держа в одной руке окровавленный меч, в другой – убитого гуся.

С улицы послышались громкие голоса, и целая толпа с факелами ворвалась в храм. Впереди была старая жрица Приапа – Скабра. Она мирно, по своему обыкновению, распивала вино в соседнем кабачке, когда услышала крики священных гусей и поспешила на помощь, с толпой бродяг. Крючковатый красный нос, седые растрепанные волосы, глаза с острым блеском, как два стальных клинка, делали ее похожей на фурию. Она вопила:

– Помогите! Помогите! Храм осквернен! Священные гуси Приапа убиты! Видите, это – христиане-безбожники. Держите их!

Филлис, закрывшись с головой плащом, убежала. Толпа влекла на рыночную площадь Агамемнона, который так растерялся, что не выпускал из рук мертвого гуся. Скабра звала агораномов – рыночных стражей.

С каждым мгновением толпа увеличивалась.

Товарищи Агамемнона прибежали на помощь. Но было поздно: из притонов, из кабаков, из лавок, из глухих переулков мчались люди, привлеченные шумом. На лицах было то выражение радостного любопытства, которое всегда является при уличном происшествии. Бежал кузнец с молотом в руках, соседки-старухи, булочник, обмазанный тестом, сапожник мчался, прихрамывая; и за всеми рыжеволосый крохотный жиденок летел, с визгом и хохотом, ударяя в оглушительный медный таз, как будто звоня в набат.

Скабра вопила, вцепившись когтями в одежду Агамемнона:

– Подожди! Доберусь я до твоей гнусной бороды! Клочка не оставлю! Ах ты, падаль, снесь воронья! Да ты и веревки не стоишь, на которой тебя повесят!

Явились, наконец, заспанные агораномы, более похожие на воров, чем на блюстителей порядка.

В толпе был такой крик, смех, брань, что никто ничего не понимал. Кто-то вопил: «убийцы!», другие: «ограбили!», третьи: «пожар!»

И в это мгновение, побеждая все, раздался громopodobный голос полуголого рыжего великана с лицом, покрытым веснушками, по ремеслу – банщика, по призванию – рыночного оратора:

– Граждане! Давно уже слежу я за этим мерзавцем и его спутниками. Они записывают имена. Это соглядатаи, соглядатаи цезаря!

Скабра, исполняя давнее намерение, вцепилась одной рукой в бороду, другой – в волосы Агамемнона. Он хотел оттолкнуть ее, но она рванула изо всей силы – и длинная черная борода и густые волосы остались у нее в руках; старуха грохнулась навзничь. Перед народом, вместо Агамемнона, стоял красивый юноша с вьющимися мягкими светлыми, как лен, волосами и маленькой бородкой.

Толпа умолкла в изумлении. Потом опять загудел голос банщика:

– Видите, граждане, это – переодетые доносчики!

Кто-то крикнул:

– Бей! бей!

Толпа всколыхнулась. Полетели камни. Товарищи обступили Агамемнона и обнажили мечи. Чесальщик шерсти сброшен был первым ударом; он упал, обливаясь кровью. Жиденка с медным тазом растоптали. Лица сделались зверскими.

В это мгновение десять огромных рабов-пафлагонцев, с пурпурными носилками на плечах, раскинули толпу.

– Спасены! – воскликнул белокурый юноша и бросился с одним из спутников в носилки.

Пафлагонцы подняли их на плечи и побежали. Разъяренная толпа остановила бы и растерзала их, если бы не крикнул кто-то:

– Разве вы не видите, граждане? Это цезарь, сам цезарь Галл!

Народ остоленел от ужаса.

Пурпурные носилки, покачиваясь на спинах рабов, как лодка на волнах, исчезали в глубине неосвещенной улицы.

Шесть лет прошло с того дня, как Юлиан и Галл были заключены в каппадокийскую крепость Мацеллум. Император Констанций возвратил им свою милость. Девятнадцатилетнего Юлиана вызвали в Константинополь и потом позволили ему странствовать по городам Малой Азии; Галла император сделал своим соправителем, цезарем и отдал ему в управление Восток. Впрочем, неожиданная милость не предвещала ничего доброго. Констанций любил поражать врагов, усыпив их ласками.

– Ну, Гликон, как бы теперь ни убеждала меня Константина, не выйду я больше на улицу с поддельными волосами. Кончено!

– Мы предупреждали твое величество...

Но цезарь, лежа на мягких подушках носилок, уже забыл недавний страх. Он смеялся:

– Гликон! Гликон! Видел ты, как проклятая старуха покатила навзничь с бородой в руках? Смотрю – а уж она лежит!

Когда они вошли во дворец, цезарь приказал:

– Скорее ванну и ужинать! Проголодался.

Придворный подошел с письмом.

– Что это? Нет, нет, дела до завтрашнего утра...

– Милостивый цезарь, важное письмо – прямо из лагеря императора Констанция.

– От Констанция! Что такое? Подай...

Он распечатал, прочел и побледнел; колени его подкосились; если бы придворные не поддержали Галла, он упал бы.

Император в изысканных, даже льстивых выражениях приглашал своего «нежно любимого» двоюродного брата в Медиолан; вместе с тем повелевал, чтоб два легиона, стоявшие в Антиохии, – единственная защита Галла, немедленно высланы были ему, Констанцию. Он, видимо, хотел обезоружить и заманить врага.

Когда цезарь пришел в себя, он произнес слабым голосом:

– Позовите жену...

– Супруга милостивого государя только что изволила уехать в Антиохию.

– Как? И ничего не знает?

– Не знает.

– Господи! Господи! Да что же это такое? Без нее! Скажите посланному от императора...

Да нет, не говорите ничего. Я не знаю. Разве я могу без нее? Пошлите гонца. Скажите, что цезарь умоляет вернуться... Господи, что же делать?

Он ходил, растерянный, хватаясь за голову, крутил дрожащими пальцами мягкую светлую бородку и повторял беспомощно:

– Нет, нет, ни за что не поеду. Лучше смерть... О, я знаю Констанция!

Подошел другой придворный с бумагой:

– От супруги цезаря. Уезжая, просила, чтобы ты подписал.

– Что? Опять смертный приговор? Клемаций Александрийский! Нет, нет, это чересчур.

Так нельзя. По три в день!

– Супруга твоя изволила...

– Ах, все равно! Давайте перо! Теперь все равно... Только зачем уехала? Разве я могу один...

И подписав приговор, он взглянул своими голубыми детскими и добрыми глазами.

– Ванна готова; ужин сейчас подают.

– Ужин? Не надо... Впрочем, что такое?

– Есть трюфели.

– Свежие?

– Только что с корабля из Африки.

– Не подкрепиться ли? А? Как вы думаете, друзья мои? Я так ослабел... Трюфели? Я еще утром думал...

На растерянном лице его промелькнула беззаботная улыбка.

Перед тем, чтобы войти в прохладную воду, мутно-белую, опаловую от благовоний, цезарь проговорил, махнув рукой:

– Все равно, все равно... Не надо думать... Господи, помилуй нас грешных!.. Может быть, Константина как-нибудь и устроит?

Откормленное, розовое лицо его совсем повеселело, когда с привычным наслаждением погрузился он в душистую купальню.

– Скажите повару, чтоб кислый красный соус к трюфелям!

## VII

В городах Малой Азии – Никомидии, Пергаме, Смирне – девятнадцатилетний Юлиан, искавший эллинской мудрости, слышал о знаменитом теурге и софисте, Ямвлике из Халкиды, ученике Порфирия неоплатоника, о божественном Ямвлике, как все его называли.

Он поехал к нему в город Эфес.

Ямвлик был старичок, маленький, худенький, сморщенный. Он любил жаловаться на свои недуги – подагру, ломоту, головную боль; бранил врачей, но усердно лечился, наслаждением говорил о припарках, настойках, лекарствах, пластырях; ходил в мягкой и теплой двойной тунике, даже летом, и никак не мог согреться; солнце любил, как ящерица.

С ранней юности Ямвлик отвык от мясной пищи и чувствовал к ней отвращение; не понимал, как люди могут есть живое. Служанка приготавливала ему особую ячменную кашу, немного теплого вина и меду; даже хлеба старик не мог разжевать беззубыми челюстями.

Множество учеников, почтительных, благоговейных из Рима, Антиохии, Карфагена, Египта, Месопотамии, Персии – теснилось вокруг него; все верили, что Ямвлик творит чудеса. Он обращался с ними, как отец, которому надоело, что у него так много маленьких беспомощных детей. Когда они начинали спорить или ссориться, учитель махал руками, сморщив лицо, как будто от боли. Он говорил тихим голосом, и чем громче становился крик спорящих, тем Ямвлик говорил тише; не выносил шума, ненавидел громкие голоса, скрипучие сандалии.

Юлиан смотрел с разочарованием на прихотливого, зябкого, больного старичка, не понимая, какая власть притягивает к нему людей.

Он припоминал рассказ о том, как ученики однажды ночью видели Божественного, поднятого во время молитвы чудесною силою над землею на десять локтей и окруженного золотым сиянием; другой рассказ о том, как Учитель, в сирийском городе Гадара, из двух горячих источников вызвал Эроса и Антэроса – одного радостного светлокудрого, другого скорбного темного гения любви; оба ласкались к Ямвлику, как дети, и по его мановению исчезли.

Юлиан прислушивался к тому, что говорил учитель, и не мог найти власти в словах его. Метафизика школы Порфирия показалась Юлиану мертвой, сухой и мучительно сложной. Ямвлик как будто играл, побеждая в спорах диалектические трудности. В его учении о Боге, о мире, об Идеях, о Плотиновой Триаде было глубокое книжное знание – но ни искры жизни. Юлиан ждал не того.

И все-таки ждал.

У Ямвлика были странные зеленые глаза, которые еще более резко выделялись на потемневшей сморщенной коже лица: такого зеленоватого цвета бывает иногда вечернее небо, между темными тучами, перед грозой. Юлиану казалось, что в этих глазах, как будто нечеловеческих, но еще менее божественных, сверкает та сокровенная *змеиная* мудрость, о которой Ямвлик ни слова не говорил ученикам. Но вдруг, усталым тихим голосом. Божественный спрашивал, почему не готова ячменная каша или припарки, жаловался на ломоту в членах – и обаяние исчезало.

Однажды гулял он с Юлианом за городом, по берегу моря. Был нежный и грустный вечер. Вдали, над гаванью Панормос, белели уступы и лестницы храма Артемиды Эфесской, увенчанные изваяниями. На песчаном берегу Каистра (здесь, по преданию, Латона родила Артемиду и Аполлона) тонкий темный тростник не шевелился. Дым многочисленных жертвенников, из священной рощи Ортигии, подымался к небу прямыми столбами. К югу синели горы Самоса. Прибой был тих, как дыхание спящего ребенка; прозрачные волны набегали на укатанный, черный песок; пахло разогретой дневными лучами соленой водой и морскими травами. Заходящее солнце скрылось за тучи и позлатило их громады.

Ямвлик сел на камень; Юлиан у ног его. Учитель гладил его жесткие черные волосы.

– Грустно тебе?

– Да.

– Знаю. Ты ищешь и не находишь. Не имеешь силы сказать: Он есть, и не смеешь сказать: Его нет.

– Как ты угадал, учитель?..

– Бедный мальчик! Вот уже пятьдесят лет, как я страдаю той же болезнью. И буду страдать до смерти. Разве я больше знаю Его, чем ты? Разве я нашел? Это – вечные муки деторождения. Перед ними все остальные муки ничто. Люди думают, что страдают от голода, от жажды, от боли, от бедности: на самом деле, страдают они только от мысли, что, может быть. Его нет. Это – единственная скорбь мира. Кто дерзнет сказать: *Его нет*, и кто знает, какую надо иметь силу, чтобы сказать: *Он есть*.

– И ты, даже ты никогда к Нему не приближался?

– Три раза в жизни испытал я восторг – полное слияние с Ним. Плотин четыре раза. Порфирий пять. У меня были три мгновения в жизни, из-за которых стоило жить.

– Я спрашивал об этом твоих учеников: они не знают...

– Разве они смеют знать? С них довольно и шелухи мудрости: ядро почти для всех смертельно.

– Пусть же я умру, учитель, – дай мне его!

– Посмеешь ли ты взять?

– Говори, говори же!

– Что я могу сказать! Я не умею... И хорошо ли говорить об этом? Прислушайся к вечерней тишине: она лучше всяких слов говорит.

По-прежнему гладил он Юлиана по голове, как ребенка. Ученик подумал: «вот оно – вот, чего я ждал!». Он обнял колени Ямвлика и, подняв к нему глаза с мольбой, произнес:

– Учитель, сжался! Открой мне все. Не покидай меня...

Ямвлик заговорил тихо, про себя, как будто не слыша и не видя его, устремив странно неподвижные зеленые глаза свои на тучи, изнутри позлащенные солнцем:

– Да, да... Мы все забыли Голос Отчий. Как дети, разлученные с Отцом от колыбели, мы и слышим, и не узнаем его. Надо, чтобы все умолкло в душе, все небесные и земные голоса. Тогда мы услышим Его... Пока сияет разум и как полуденное солнце озарят душу, мы остаемся сами в себе, не видим Бога. Но когда разум склоняется к закату, на душу нисходит восторг, как ночная роса... Злые не могут чувствовать восторга; только мудрый делается лирой, которая вся дрожит и звучит под рукою Бога. Откуда этот свет, озаряющий душу? – Не знаю. Он приходит внезапно, когда не ждешь; его нельзя искать. Бог недалеко от нас. Надо приготовиться; надо быть спокойным и ждать, как ждут глаза, чтобы солнце взошло устремилось, по выражению поэта, из темного Океана. Бог не приходит и не уходит. Он только является. Вот Он. Он отрицание мира, отрицание всего, что есть. Он – ничто. Он – все.

Ямвлик встал с камня и медленно протянул исхудалые руки.

– Тише, тише, говорю я, – тише! Внимайте Ему все. Вот – Он. Да умолкнет земля и море, и воздух, и даже небо. Внимайте! Это Он наполняет мир, проникает дыханием атомы, озаряет материю – Хаос, *предмет ужаса для богов*, – как вечернее солнце позлащает темную тучу...

Юлиан слушал, и ему казалось, что голос учителя, слабый и тихий, наполняет мир, достигает до самого неба, до последних пределов моря. Но скорбь Юлиана была так велика, что вырвалась из груди его стоном:

– Отец мой, прости, но если так, – зачем жизнь? зачем эта вечная смена рождения и смерти? зачем страдание? зачем зло? зачем тело? зачем сомнение? зачем тоска по невозможному?..

Ямвлик взглянул кротко и опять провел рукой по волосам его:

– Вот где тайна, сын мой. Зла нет, тела нет, мира нет, если есть Он. Или Он, или мир. Нам кажется, что есть зло, что есть тело, что есть мир. Это – призрак, обман жизни. Помни: у всех – одна душа, у всех людей

и даже бессловесных тварей. Все мы вместе покоились некогда в лоне Отца, в свете немерцающем. Но взглянули однажды с высоты на темную мертвую материю, и каждый увидал в ней свой собственный образ, как в зеркале. И душа сказала себе: «Я могу, я хочу быть свободной. Я – как Он. Неужели я не дерзну отпасть от Него и быть всем?». – Душа, как Нарцисс в ручье, пленилась красотой собственного образа, отраженного в теле. И пала. Хотела пасть до конца, отделиться от Бога навеки, но не могла: ноги смертного касаются земли, чело – выше горных небес. И вот, по вечной лестнице рождения и смерти, души всех существ восходят, нисходят к Нему и от Него. Пытаются уйти от Отца и не могут. Каждой душе хочется самой быть Богом, но напрасно: она скорбит по Отчему лону; на земле ей нет покоя; она жаждет вернуться к Единому. Мы должны вернуться к Нему, и тогда все будут Богом, и Бог будет во всех. Разве ты один тоскуешь о нем? Посмотри, какая небесная грусть в молчании природы. Прислушайся: разве ты не чувствуешь, что все грустит о нем?

Солнце закатилось. Золотые, как будто раскаленные, края облаков потухали. Море сделалось бледным и воздушным, как небо, небо – глубоким и ясным, как море. По дороге промчалась колесница. В ней были юноша и женщина, может быть, двое влюбленных. Женский голос запел грустную и знакомую песнь любви. Потом все опять затихло и сделалось еще грустнее. Быстрая южная ночь слетала с небес.

Юлиан прошептал:

– Сколько раз я думал: отчего такая грусть в природе? Чем она прекраснее, тем грустнее...

Ямвлик ответил с улыбкой:

– Да, да... Посмотри: она хотела бы сказать, о чем грустит, – и не может. Она немая. Спит и старается вспомнить Бога во сне, сквозь сон, но не может, отягощенная материей. Она созерцает Его смутно и дремотно. Все миры, все звезды, и море, и земля, и животные, и растения, и люди, все это – сны природы о Боге. То, что она созерцает, – рождается и умирает. Она создает одним созерцанием, как бывает во сне; создает легко, не зная ни усилия, ни преграды. Вот почему так прекрасны и вольны ее создания, так бесцельны и божественны. Игра сновидений природы – подобна игре облаков. Без начала, без конца. Кроме созерцания, в мире нет ничего. Чем оно глубже, тем оно тише. Воля, борьба, действие – только ослабленное, недоконченное или помраченное созерцание Бога. Природа, в своем великом бездействии, создает формы, подобно геометру: существует то, что он видит; так и она роняет из своего материнского лона формы за формами. Но ее безмолвное, смутное созерцание – только образ иного, яснейшего. Природа ищет слова и не находит. Природа – спящая мать Кибела, с вечно закрытыми веждами; только человек нашел слово, которого она искала и не нашла: душа человеческая – это природа, открывшая сонные вежды, проснувшаяся и готовая увидеть Бога уже не во сне, а вьяве, лицом к лицу...

Первые звезды выступили на потемневшем и углубившемся небе, то совсем потухали, то вспыхивали, словно вращались, как привешенные к тверди крупные алмазы; затеплились новые и новые, неисчислимые. Ямвлик указал на них.

– Чему уподоблю мир, все эти солнца и звезды? Сети уподоблю их, закинутой в море. Бог объемлет вселенную, как вода объемлет сеть; сеть движется, но не может остановить воду; мир хочет и не может уловить Бога. Сеть движется, но Бог спокоен, как вода, в которую закинута сеть. Если бы мир не двигался, Бог не создавал бы ничего, не вышел бы из покоя, ибо зачем и куда ему стремиться? Там, в царстве вечных Матерей, в лоне Мировой Души, таятся семена, Идеи-Формы всего, что есть, и было, и будет: таятся Лагос-зародыш и кузнечика, и былинки, и олимпийского бога...

Тогда Юлиан воскликнул громко, и голос его раздался в тишине ночи, подобно крику смертельной боли:

– Кто же Он? Кто Он? Зачем Он не отвечает, когда мы зовем? Как Его имя? Я хочу знать Его, слышать и видеть! Зачем Он бежит от моей мысли? Где Он?

– Дитя, что значит мысль перед Ним? Ему нет имени: Он таков, что мы умеем сказать лишь то, чем Он не должен быть, а то, что Он есть, мы не знаем. Но разве ты можешь страдать и не хвалить Его? разве ты можешь любить и не хвалить Его? разве ты можешь проклинать и не хвалить Его? Создавший все, сам Он – ничто из всего, что создал. Когда ты говоришь: Его нет, ты воздаешь Ему не меньшую хвалу, чем если молвишь: Он есть. О Нем ничего нельзя утверждать, ничего – ни бытия, ни сущности, ни жизни, ибо Он выше всякого бытия, выше всякой сущности, выше всякой жизни. Вот почему я сказал, что Он – отрицание мира, отрицание мысли твоей. Отрекись от сущего, от всего, что есть – и там, в бездне бездн, в глубине несказанного мрака, подобного свету, ты найдешь Его. Отдай Ему и друзей, и родных, и отчизну, и небо, и землю, и себя самого, и свой разум. Тогда ты уже не увидишь света, ты сам будешь свет. Ты не скажешь: Он и Я; ты почувствуешь, что Он и Ты – одно. И душа твоя посмеется над собственным телом, как над призраком. Тогда – молчание; тогда не будет слов. И если мир в это мгновение рушится, ты будешь рад, потому что зачем тебе мир, когда ты останешься с Ним? Душа твоя не будет желать, потому что Он не желает, она не будет жить, потому что Он выше жизни, она не будет мыслить, потому что Он выше мысли. Мысль есть искание света, а Он не ищет света, потому что сам Он – Свет. Он проникает всю душу и претворяет ее в Себя. И тогда, бесстрастная, одинокая, покоится она выше разума, выше добродетели, выше царства идей, выше красоты – в бездне, в лоне Отца Светов. Душа становится Богом, или, лучше сказать, только вспоминает, что во веки веков она была, и есть, и будет Богом...

\* \* \*

Такова, сын мой, жизнь олимпийцев, такова жизнь людей богоподобных и мудрых: отречение от всего, что есть в мире, презрение к земным страстям, бегство души к Богу, которого она видит лицом к лицу.

Он умолк, и Юлиан упал к его ногам, не смел прикоснуться к ним, и только целовал землю, которой ноги святого касались. Потом ученик поднял лицо и заглянул в эти странные зеленые глаза, в которых сияла разоблаченная тайна «змеиной» мудрости; они казались спокойнее и глубже неба: как будто изливалась из них святая сила.

Юлиан прошептал:

– Учитель, ты можешь все. Верую! Прикажи горам – горы сдвинутся. Будь, как Он! Сделай чудо! Сотвори невозможное! Помилуй меня! Верую, верую!..

– Бедный сын мой, о чем ты просишь? То чудо, которое может совершиться в душе твоей, разве не больше всех чудес, какие я могу сотворить? Дитя мое, разве не страшное и не благодатное чудо – та власть, во имя которой ты смеешь сказать: Он есть, а если нет Его, все равно, – *Он будет*. И ты говоришь: Да будет Он – я так хочу!

## VIII

Когда учитель и ученик, возвращаясь с прогулки, проходили Панормос, многолюдную гавань Эфеса, они заметили необычайное волнение.

Многие бежали по улицам, махали пылающими смоляными факелами и кричали:

– Христиане разрушают храмы! Горе нам!

Другие:

– Смерть олимпийским богам! Астарта побеждена Христом!

Ямвлик думал пройти пустынными переулками. Но бегущая толпа увлекла их по набережной Каистра, мимо капища Артемиды Эфесской. Великолепный храм, создание Динократа, стоял, как твердыня, суровые темный и незыблемый, выделяясь на звездном небе. Отблеск факелов дрожал на исполинских столбах с маленькими кариатидами вместо подножий. Не только вся Римская империя, но и все народы земли чтили эту святыню.

Кто-то в толпе закричал неуверенно:

– Велика Артемида Эфесская!

Ему ответили сотни голосов:

– Смерть олимпийским богам и твоей Артемиде!

Над черным зданием городской оружейной палаты подымалось кровавое зарево.

Юлиан взглянул на божественного учителя и не узнал его. Ямвлик опять превратился в робкого, больного старика. Он жаловался на головную боль, высказывал страх, что ночью начнется ломота, что служанка забыла приготовить припарки. Юлиан отдал учителю верхний плащ. Но ему было все-таки холодно. С болезненным выражением лица затыкал он уши, чтобы не слышать уличного крика и хохота. Ямвлик больше всего в мире боялся толпы; говорил, что нет глупее и отвратительнее беса, чем дух народа.

Теперь указывал он ученику на лица пробежавших мимо людей:

– Посмотри, какое уродство, какая пошлость и какая уверенность в правоте своей! Разве не стыдно быть человеком – таким же телом, такую же грязью, как эти?..

Старушка-христианка причитала:

– И говорит мне больной внучек: свари мне, бабушка, мясной похлебки. – Хорошо, говорю, милый, вот уж пойдешь на рынок, принесешь мяса. – Сама думаю: мясо теперь, пожалуй, дешевле пшеничного хлеба. Купила на пять обол-лов; сварила похлебку. А соседка-то на дворе кричит: – Что ты варишь, или не знаешь, нынче мясо на рынке поганое? – Как, говорю, поганое? Что такое? – А так, говорит, что на поругание добрым христианам, ночью жрецы богини Деметры весь рынок, все лавки мясные жертвенною водою окропили. Никто в городе не ест поганого мяса. За то жрецов идольских побивают камнями, а бесовское капище Деметры разрушат. – Я и выплеснула похлебку собаке. Шутка сказать – пять оболлов! В целый день не наработаешь. А все-таки внучка не опоганила.

Другие сообщили, как в прошлом году один скупой христианин наелся жертвенного мяса, и вся утроба у него сгнила, и такой был смрад в доме, что родные убежали.

Пришли на площадь. Здесь был маленький храм Деметры-Изиды-Астарты – Трехликой Гекаты, таинственной богини земного плодородия, могучей и любвеобильной Кибелы, Матери богов. Храм со всех сторон облепили монахи, как большие черные мухи кусок медовых сот; монахи ползли по белым выступам, карабкались по лестницам с пением священных псалмов, разбивали изваяния. Столбы дрожали; летели осколки нежного мрамора; казалось он страдает, как живое тело. Пытались поджечь здание, но не могли: храм весь был из мрамора.

Вдруг раздался внутри оглушительный и вместе с тем певучий звон. К небу поднялся торжествующий вопль народа.

– Веревок, веревок! За руки, за ноги!

С пением молитв и радостным хохотом, из дверей храма толпа на веревках повлекла вниз по ступеням звеневшее, серебряное, бледное тело богини, Матери богов – творение Скопаса.

– В огонь, в огонь!

И ее потащили по грязной площади.

Монах-законовед провозглашал отрывок из недавнего закона императора Константа, брата Констанция: «*Cesset superstitio, sacrificiorum aboleatur insania*» – «Да прекратится суеверие, да будет уничтожено безумие жертвоприношений».

– Не бойтесь ничего! Бейте, грабьте все в бесовском капище!

Другой, при свете факелов, прочел в пергаментном свитке выдержку из книги Фирмика Матерна «*De errore profanarum religionum*»<sup>3</sup>.

«Святые Императоры! Придите на помощь к несчастным язычникам. Лучше спасти их насильно, чем дать погибнуть. Срывайте с храмов украшения: пусть сокровища их обогатят вашу казну. Тот, кто приносит жертву идолам, да будет исторгнут с корнем из земли. Убей его, побей камнями, хотя бы это был твой сын, твой брат, жена, спящая на груди твоей».

Над толпою проносился крик:

– Смерть, смерть олимпийским богам!

Огромный монах с растрепанными черными волосами, прилипшими к потному лбу, занес над богиней медный топор и выбирал место, чтобы ударить.

Кто-то посоветовал:

– В чрево, в бесстыжее чрево!

Серебряное тело гнулось, изуродованное. Удары звенели, оставляя рубцы на чреве Матери богов и людей, Деметры-Кормилицы.

Старый язычник закрыл лицо одеждой, чтобы не видеть кощунства; он плакал и думал, что теперь все кончено – мир погиб: Земля-Деметра не захочет родить людям колоса.

Отшельник, пришедший из пустыни Месопотамии, в овечьей шкуре, с посохом и выдолбленной тыквой вместо посуды, в грубых сандалиях, подкованных железными гвоздями, подбежал к богине.

– Сорок лет не мылся я, чтобы не видеть собственной наготы и не соблазниться. А как придешь, братя, в город, так всюду только и видишь голые тела богов окаянных. Долго ли терпеть бесовский соблазн? Всюду поганые идолы: в домах, на улицах, на крышах, в банях, под ногами, над головой. Тьфу, тьфу, тьфу! Не отплюешься!..

И с ненавистью старик ударил сандалией в грудь Кибелы. Он топтал эту голую грудь, и она казалась ему живой; он хотел бы раздавить ее под острыми гвоздями тяжелых сандалий. Он шептал, задыхаясь от злости:

– Вот тебе, вот тебе, гнусная, голая! Вот тебе, сука!..

Под ногой его уста богини по-прежнему хранили спокойную улыбку.

Толпа подняла ее на руки, чтобы бросить в костер. Пьяный ремесленник, с дыханием, пропитанным чесноком, плюнул ей прямо в лицо.

Костер был огромный; в него свалили все деревянные рыночные лавки, оскверненные жертвенной водой. Высоко над толпой тихие звезды мерцали сквозь дым.

Богиню бросили в костер, чтобы расплавить серебряное тело. И опять, с нежным, певучим звоном, ударились она о пылающие головни.

– Слиток в пять талантов. Тридцать тысяч маленьких серебряных монет. Половину пошлем императору на жалование солдатам, другую – голодным. Кибела принесет, по крайней мере, пользу народу. Из богини – тридцать тысяч монет для солдат и для нищих.

– Дров! Дров!

Пламя вспыхнуло ярче, и всем стало веселее.

---

<sup>3</sup> «О заблуждении религиозных невежд» (лат.)

– Посмотрим, вылетит ли бес. Говорят, в каждом идоле по бесу, а в богинях – так по два и по три...

– Как начнет плавиться, сделается лукавому жарко, он и выпорхнет из поганого рта, в виде кровавого или огненного змия...

– Нет, надо было раньше перекрестить, а то, пожалуй, и в землю ужом уползет. В позапрошлом году разбивали капище Афродиты; кто-то и брызнул святой водой. И что же бы вы думали? Из-под одежды выскочили крохотные бесенята. Как же? Сам видел. Смердные, черные, в белых-то складках, мохнатые. И запищали, как мыши. А когда Афродите голову отбили, так из шеи главный выскочил, вот с какими рогами, а хвост облезлый, голый, без шерсти, как у паршивого пса...

Кто-то недоверчиво заметил:

– Не спорю. Может быть, вы и видели бесов, только, когда разбивали наемни в Газе идола Зевса, то внутри и бесов не было, а такая пакость, что стыдно сказать. С виду – важный, страшный: слоновая кость, золото, в руках молнии. А внутри – паутина, крысы, пыль, ржавые перекладки, рычаги, гвозди, вонючий деготь и еще черт знает, какая дрянь. Вот вам и боги!

Ямвлик, бледный, как полотно, с потухшими глазами, взял за руку Юлиана и отвел его в сторону.

– Посмотри, видишь – двое? Это доносчики Констанция. Твоего брата Галла увезли уже в Константинополь под стражей. Берегись! Сегодня же пошлют донос...

– Что делать, учитель? Я привык. Знаю: они давно следят за мной...

– Давно?.. Зачем же ты мне не сказал?

И рука его дрогнула в руке Юлиана.

– Чего они шепчутся? Смотрите – уж не безбожники ли это? Эй, старикашка, пошевеливайся, дров неси! – закричал им оборванец, который чувствовал себя победителем.

Ямвлик шепнул Юлиану:

– Будем презирать и покоримся. Не все ли равно? Богов не может оскорбить людская глупость.

Божественный взял полено из рук христианина и бросил в костер. Юлиан не верил глазам. Но доносчики смотрели на него с улыбкой, пытливо и пристально.

Тогда слабость, привычка к лицемерию, презрение к себе и к людям, злорадство овладели душой Юлиана. Чувствуя за спиной своей взоры доносчиков, подошел он к связке дров, выбрал самое большое полено и после Ямвлика бросил его в костер, на котором уже таяло тело искалеченной богини. Он видел, как расплавленное серебро струилось по лицу ее, подобно каплям предсмертного пота; а на устах по-прежнему была непобедимая, спокойная улыбка.

## IX

– Посмотри на людей в черных одеждах, Юлиан. Это вечерние тени, тени смерти. Скоро не будет ни одной белой одежды, ни одного куса мрамора, озаренного солнцем. Кончено!

Так говорил юный софист Антонин, сын египетской пророчицы Созипатры и неоплатоника Эдезия. Он стоял с Юлианом на большой высокой площади перед жертвенником Пергамским, залитой солнцем, окруженной голубым небом. На подножии храма была изваяна Гигантомахия, борьба титанов и богов: боги торжествовали; копыта крылатых коней попирали змеевидные ноги титанов.

Антонин указал Юлиану на изваяния.

– Олимпийцы победили древних богов; теперь олимпийцев победят новые боги. Храмы будут гробницами...

Антонин был стройный юноша; некоторые очертания тела и лица его напоминали Аполлона Пифийского; но уже много лет страдал он неизлечимым недугом; странно было видеть это чисто эллинское, прекрасное лицо желтым, исхудалым, с выражением тоски, новой болезни, чуждой лицам древних мужей.

– Об одном молю я богов, – продолжал Антонин, чтобы не видеть мне этой варварской ночи, чтобы раньше умереть. Риторы, софисты, ученые, поэты, художники, любители эллинской мудрости, все мы – лишние. Опоздали. Кончено!

– А если не кончено? – проговорил Юлиан тихо, как будто про себя.

– Нет, кончено! Мы больные, слишком слабые...

Лицо девятнадцатилетнего Юлиана казалось почти таким же худым и бледным, как лицо Антонина; выдающаяся нижняя губа придавала ему выражение угрюмой надменности; густые брови хмурились со злобным упрямством; около некрасивого, слишком большого носа выступали ранние морщины; глаза блестели сухим, лихорадочным блеском. Он был одет, как христианские послушники.

Днем, как прежде, посещал церкви, гробницы мучеников, читал с амвона Писание, готовился к пострижению в монахи. Иногда лицемерие это казалось ему тщетным: он знал, какая судьба постигла Галла; знал, что брату не миновать смерти. И сам, день за днем, месяц за месяцем, жил в постоянном ожидании смерти.

Ночи проводил в книгохранилище Пергамском, где изучал творения знаменитого врага христиан, ритора Либания; посещал уроки греческих софистов – Эдезия Пергамского, Хризанфия Сардийского, Приска из Феспротии, Евсевия из Минда, Прозерезия, Нимфидиана.

Они говорили ему о том, что он уже слышал от Ямвлика: о триединстве неоплатоников, о священном восторге.

– Нет, все это не то, – думал Юлиан, – главное скрывают они от меня.

Приск, подражавший Пифагору, пять лет провел в молчании; не ел ничего, имеющего жизнь; не употреблял ни шерстяной ткани, ни кожаных сандалий; ткань одежды его была растительной, так же как пища; он носил пифагорейскую хламиду из чистого белого льна, сандалии из пальмовых ветвей. «В наш век, – говорил он, – главное уметь молчать и думать о том, чтобы погибнуть с достоинством». И Приск с достоинством, презирая всех, ждал того, что считал гибелью, – победы христиан над эллинами.

Хитрый и осторожный Хризанфий, когда речь заходила о богах, подымал глаза к небу, уверяя, что не смеет о них говорить, так как ничего не знает, а что прежде знал – забыл и другим советует забыть; о магии, о чудесах, о видениях и слышать не хотел, утверждая, что все это обманы, воспрещенные законами римской империи.

Юлиан плохо ел, мало спал; кровь его кипела от страстного нетерпения. Каждое утро, просыпаясь, он думал: «не сегодня ли?»

Бедным, запуганным теургам-философам надоел он своими расспросами о таинствах, о чудесах. Некоторые над ним подсмеивались – особенно Хризанфий; у него была хитрая лисья усмешка и привычка соглашаться с теми мнениями, которые считал он за величайшие нелепости.

Однажды Эдезий, старик умный, боязливый и добрый, сжалившись над Юлианом, сказал:

– Дитя, я хочу умереть спокойно. Ты еще молод. Оставь меня; ступай к моим ученикам; они откроют тебе все. Да, есть многое, о чем боимся мы говорить... Когда ты будешь посвящен в таинства, то, может быть, устыдишься, что родился *только человеком*, что до сей поры оставался им.

Евсевий из Минда, ученик Эдезия, был человек желчный и завистливый.

– Чудес больше нет, – объявил он Юлиану. – И не жди. Люди надоели богам. Магия – вздор. Глупы те, кто в нее верит. Но, если тебе наскучила мудрость, и ты непременно хочешь быть обманутым, ступай к Максиму. Он презирает нашу диалектику, а сам... Впрочем, о друзьях я не люблю говорить дурно. Лучше послушай, что случилось недавно в одном подземном храме Гекаты, куда нас привел Максим показывать свое искусство. Когда мы вошли и помолились богине, он сказал: «садитесь – вы увидите чудо». Мы сели. Он бросил на алтарь зерно фимиама, что-то пробормотал, должно быть, заклятие. И мы ясно увидели, как изваяние Гекаты улыбнулось. Максим сказал: «не бойтесь, сейчас вы увидите, как обе лампы в руках богини зажгутся. Смотрите!» Не успел он кончить, как лампы зажглись.

– Чудо совершилось! – воскликнул Юлиан.

– Да, да. Мы были в таком смущении, что упали ниц. Но когда я вышел из храма, то подумал: «Что же это? Достойно ли мудрости то, что делает Максим? Читай книги, читай Пифагора, Платона, Порфирия – вот где найдешь мудрость. Не прекраснее ли всяких чудес – очищение сердца божественной диалектикой?»

Юлиан уже не слушал. Он взглянул горящими глазами на бледное желчное лицо Евсевия и сказал, уходя из школы:

– Оставайтесь вы с вашими книгами и диалектикой. Я хочу жизни и веры. А разве может быть вера без чуда? Благодарю тебя, Евсевий. Ты указал мне человека, которого я давно искал.

Софист взглянул с ядовитой усмешкой и произнес ему вслед:

– Ну, племянник Константина, недалеко же ты ушел от дяди. Сократу, чтобы верить, не надо было чудес.

## Х

Ровно в полночь, в преддверьи большой залы мистерий, Юлиан сложил одежду послушника, и мистагоги-жрецы, посвящающие в таинства, облекли его в хитон иерофантов из волокон чистого египетского папируса; в руки дали ему пальмовую ветвь; ноги остались босыми. Он вошел в низкую длинную залу.

Двойной ряд столбов из орихалка – зеленоватой меди – поддерживал своды; каждый столб изображал двух перевившихся змей; от орихалка отделялся запах меди.

У колонн стояли курильницы на тонких высоких ножках; огненные языки трепетали, и клубы белого дыма наполняли залу.

В дальнем конце слабо мерцали два золотых крылатых ассирийских быка; они поддерживали великолепный престол; на нем восседал, подобный богу, в длинном черном одеянии, затканном золотом, облитом потоками смарагдов и карбункулов, сам великий иерофант – Максим Эфесский.

Протяжный голос иеродула возвестил начало таинств:

– Если есть в этом собрании безбожник, или христианин, или эпикуреец, – да изыдет!

Юлиана предупредили об ответах посвящаемого. Он произнес:

– Христиане – да изыдут!

Хор иеродулов, скрытый во мраке, подхватил унылым напевом:

– Двери! Двери! Христиане да изыдут! Да изыдут безбожники!

Тогда выступили из мрака двадцать четыре отрока; они были голы; у каждого в руках блеснул серебряный полукруглый *ситр*, похожий на серп новой луны; только острые концы серпа соединялись в полную окружность, и в них были вставлены тонкие спицы, содрогавшиеся от малейшего прикосновения. Отроки, все сразу, подняли ситры над головою, ударили однообразным движением пальцев в эти продольные палочки, – и ситры зазвенели жалобно, томно.

Максим подал знак.

Кто-то приблизился к Юлиану сзади и, крепко завязав ему глаза платком, произнес:

– Иди! Не бойся ни воды, ни огня, ни духа, ни тела, ни жизни, ни смерти!

Его повели. С железным скрипом отворилась дверь, должно быть, заржавленная; его впустили в нее, спертый воздух пахнул ему в лицо; под ногами были скользкие крутые ступени.

Он начал спускаться по бесконечной лестнице. Тишина была мертвая. Пахло плесенью. Ему казалось, что он глубоко под землю.

Лестница кончилась. Теперь он шел по узкому ходу. Руки могли ощупать стены.

Вдруг босыми ногами почувствовал он сырость; зажурчали струйки; вода покрыла ему ступни. Он продолжал идти. С каждым шагом уровень воды подымался, достиг щиколотки, потом колена, наконец, бедра. Зубы его стучали от холода. Он продолжал идти. Вода поднялась до груди. Он подумал: «Может быть, это – обман: не хочет ли Максим умертвить меня в угоду Констанцию?» Но он продолжал идти.

Вода уменьшилась.

Вдруг жар, как из кузницы, повеял в лицо; земля стала жечь ноги; казалось – он приближается к раскаленной печи; кровь стучала в виски; иногда становилось так жарко, как будто к самому лицу подносили факел или расплавленное железо. Он продолжал идти.

Жар уменьшился. Но дыхание сперлось от тяжелого зловония; он споткнулся о что-то круглое, потом – еще и еще; он догадался по запаху, что это мертвые черепа и кости.

Ему казалось, что кто-то идет рядом – беззвучно, скользя, как тень. Холодная рука схватила его руку. Он вскрикнул. Потом уже две руки стали тихонько хватать его, цепляться за одежду. Он заметил, что сухая кожа на них шелушится, и сквозь нее выступают голые кости. В том, как эти руки цеплялись за одежду, была игривая и отвратительная ласковость, как у

развратных женщин. Юлиан почувствовал на щеке своей дыхание; в нем был запах тления и могильная сырость. И вдруг над самым ухом – быстрый, быстрый, быстрый шепот, подобный шуршанию осенних листьев в полночь:

– Это – я, это – я, я. Разве ты не узнаешь меня? Это – я.

– Кто ты? – молвил он и вспомнил, что нарушил обет молчания.

– Я, я. Хочешь, я сниму с глаз твоих повязку, и ты узнаешь все, ты увидишь меня?..

Костяные пальцы, с той же мерзкой, веселой торопливостью, закопошились на лице его, чтобы снять повязку.

Холод смерти проник до глубины сердца его, и невольно, привычным движением, перекрестился он трижды, как бывало в детстве, когда видел страшный сон.

Раздался удар грома, земля под ногами всколыхнулась; он почувствовал, что падает куда-то, и потерял сознание.

Когда Юлиан пришел в себя, повязки больше не было на глазах его; он лежал на мягких подушках в огромной, слабо освещенной пещере; ему давали нюхать ткань, пропитанную крепкими духами.

Против ложа Юлиана стоял голый исхудалый человек с темно-коричневой кожей; это был индийский гимнософист, помощник Максима. Он держал неподвижно над своей головой блестящий медный круг. Кто-то сказал Юлиану:

– Смотри!

И он устремил глаза на круг, сверкавший ослепительно, до боли. Он смотрел долго. Очертания предметов слились в тумане. Он чувствовал приятную успокоительную слабость в теле; ему казалось, что светлый круг сияет уже не извне, а в нем; веки опускались, и на губах бродила усталая покорная улыбка; он отдавался обаянию света

Кто-то несколько раз провел по голове его рукою и спросил:

– Спишь?

– Да.

– Смотри мне в глаза.

Юлиан с усилием поднял веки и увидел, что к нему наклоняется Максим.

Это был семидесятилетний старик; белая, как снег, борода падала почти до пояса; волосы до плеч были с легким золотистым оттенком сквозь седину; на щеках и на лбу темнели глубокие морщины, полные не страданием, а мудростью и волей; на тонких губах скользила двусмысленная улыбка: такая улыбка бывает у очень умных, лживых и обольстительных женщин; но больше всего Юлиану понравились глаза Максима: под седыми, нависшими бровями, маленькие, сверкающие, быстрые, они были пронизательны, насмешливы и ласковы. Иерофант спросил:

– Хочешь видеть древнего Титана?

– Хочу, – ответил Юлиан.

– Смотри же.

И волшебник указал ему в глубину пещеры, где стоял орихалковый треножник. С него подымалась клубящейся громадой туча белого дыма. Раздался голос, подобный голосу бури, – вся пещера дрогнула.

– Геркулес, Геркулес, освободи меня!

Голубое небо блеснуло между разорванными тучами. Юлиан лежал с неподвижным, бледным лицом, с полузакрытыми веками, смотрел на быстрые легкие образы, проносившиеся перед ним, и ему казалось, что не сам он их видит, а кто-то другой ему приказывает видеть.

Ему снились тучи, снежные горы; где-то внизу, должно быть, в бездне, шумело море. Он увидел огромное тело; ноги и руки были прикованы обручами к скале; коршун клевал печень Титана; капли черной крови струились по бедрам; цепи звенели; он метался от боли:

– Освободи меня. Геркулес!

И Титан поднял голову; глаза его встретились с глазами Юлиана.

– Кто ты? Кого ты зовешь? – с тяжелым усилием спросил Юлиан, как человек, говорящий во сне.

– Тебя.

– Я – слабый смертный.

– Ты – мой брат: освободи меня.

– Кто заковал тебя снова?

– Смирненные, кроткие, прощающие врагам из трусости, рабы, рабы! Освободи меня!

– Чем я могу?..

– Будь, как я.

Тучи потемнели, за клубились; гром загудел вдали; сверкнула молния; коршун взвился с криком; капли крови падали с его клюва. Но сильнее грома звучал голос Титана:

– Освободи меня. Геркулес!

Потом все закрыли тучи дыма, поднявшиеся с треножника.

Юлиан на мгновение очнулся. Иерофант спросил:

– Хочешь видеть Отверженного?

– Хочу.

– Смотри.

Юлиан опять полузакрыв глаза и предался легкому очарованию сна.

В белом дыме появились слабые очертания головы и двух исполинских крыльев; перья висели поникшие, как ветви плакучей ивы, и голубоватый свет дрожал на них. Кто-то позвал его далеким, слабым голосом, как умерший друг:

– Юлиан! Юлиан! Отрекись во имя мое от Христа.

Юлиан молчал. Максим прошептал ему на ухо: «Если хочешь увидеть Великого Ангела, – отрекись».

Тогда Юлиан произнес:

– Отрекаюсь.

Над головой видения, сквозь туман, сверкнула утренняя звезда, звезда Денницы. И Ангел повторил:

– Юлиан, отрекись во имя мое от Христа.

– Отрекаюсь.

И в третий раз промолвил Ангел уже громким, близким и торжествующим голосом: «Отрекись!» – и в третий раз Юлиан повторил:

– Отрекаюсь.

И Ангел сказал:

– Я – Денница. Я – Звезда Утренняя. Приди ко мне.

– Кто ты?

– Я – Светоносный.

– Как ты прекрасен!

– Будь подобен мне.

– Какая печаль в глазах твоих!

– Я страдаю за всех живущих. Не надо рождения, не надо смерти. Придите ко мне. Я – тень, я – покой, я – свобода.

– Как зовут тебя люди?

– Злом.

– Ты – зло!

– Я восстал.

– На кого?

– На Того, Кому я равен. Он хотел быть один, но нас – двое.

Дай мне быть, как ты.

– Восстань, как я. Я дам тебе силу.

Ангел исчез. Налетевший вихрь всколебал пламя треножника; – оно приникло к земле, расстилаясь по ней. Потом треножник опрокинут был вихрем, и пламя потухло. Во мраке послышался топот, визг, стенанье, как будто невидимое, неисчислимое войско, бегущее от врага, летело по воздуху. Юлиан, объятый ужасом, пал лицом на землю, и длинная, черная одежда иерофанта билась над ним по ветру. «Бегите, бегите!» – вопили несметные голоса. – «Врата адавы разверзуются. Это Он, это Он, это Он – Победитель!»

Ветер свистал в ушах Юлиана. И легионы за легионами мчались над ним. Вдруг, после подземного удара, сразу воцарилась тишина – и небесное дуновение промчалось в ней, как в середине кроткой летней ночи. Тогда чей-то голос произнес:

– Савл! Савл! Зачем ты гонишь Меня?

Юлиану казалось, что он уже слышал голос этот когда-то в незапамятном детстве.

Потом снова, но тише, как будто издали:

– Савл! Савл! Зачем ты гонишь Меня?

И голос замер так далеко, что пронесся чуть слышным дуновением:

– Савл! Савл! Зачем ты гонишь Меня?

Когда Юлиан, очнувшись, поднял лицо от земли, он увидел, что один из иеродулов зажигает лампаду. Голова его кружилась; но он помнил все, что было с ним, как помнят сновидения.

Ему опять завязали глаза и дали отведать пряного вина. Он почувствовал силу и бодрость в членах.

Его повели наверх, по лестнице. Теперь рука его была в руке Максима. Юлиану показалось, что невидимая сила подымает его, как бы на крыльях. Иерофант сказал:

– Спрашивай.

– Ты звал Его? – проговорил Юлиан.

– Нет. Но когда на лире дрожит струна – ей отвечает другая: противное отвечает противному.

– Зачем же такая власть в словах Его, если они ложь?

– Они – истина,

– Что ты говоришь? Значит слова Титана и Ангела – ложь?

– И они – истина.

– Две истины?

– Две.

– Ты соблазняешь...

– Не я, но полная истина соблазнительна и необычайна. Если боишься – молчи.

– Я не боюсь. Говори все. Галилеяне правы?

– Да.

– Зачем же я отрекся?

– Есть и другая правда.

– Высшая?

– Нет. Равная той, от которой ты отрекся.

– Но во что же верить? Где Бог?

– И там, и здесь. Служи Ариману, служи Ормузду, как хочешь, но помни: оба равны; царство Дьявола равно царству Бога.

– Куда идти?

– Выбери один из двух путей – и не останавливайся.

– Какой?

– Если веришь в Него – возьми крест, иди за Ним, как Он велел. Будь смиренным, будь девственным, будь агнцем безгласным в руках палачей; беги в пустыню; отдай Ему плоть и дух;

терпи, верь. – Это один из двух путей: великие страстотерпцы-галилеяне достигают такой же свободы, как Прометей и Люцифер.

– Я не хочу!

– Тогда избери другой путь: будь сильным и свободным; не жалея, не люби, не прощай; восстань и победи все; не верь и познай. И мир будет твой, и ты будешь, как Титан и Ангел Денницы.

– Не могу я забыть, что в словах Галилеянина есть тоже правда; не могу я вынести двух истин!..

– Если не можешь – будешь, как все. Лучше погибнуть. Но ты можешь. Дерзай. – Ты будешь кесарем.

– Я – кесарем?

– Ты будешь иметь во власти своей то, чего не имел герой Македонский.

Юлиан почувствовал, что они выходят из подземелья: их обвеял свежий, морской, должно быть утренний ветер; не видя, угадывал он вокруг себя бесконечность моря и неба.

Иерофант снял повязку с глаз его. Они стояли на высокой мраморной башне; то была астрономическая башня, подобие древнехалдейских башен, построенная на громадном отвесном обрыве над самым морем; внизу были роскошные сады и виллы Максима, дворцы, пропилеи, напоминавшие Персепольские колоннады; дальше, в тумане – Артемизион и многоколонный Эфес; еще дальше на востоке – горы; там должно было взойти солнце; на западе, на юге, на севере расстилалось море, необъятное, туманное, темно-голубое, все трепещущее, все смеющееся в ожидании солнца. Они стояли на такой высоте, что голова у Юлиана закружилась; он должен был опереться на руку Максима.

Вдруг восходящее солнце блеснуло из-за гор; он зажмурил глаза с улыбкой – и солнце тронуло белую священную одежду Юлиана первым, сначала бледно-розовым, потом красным, кровавым лучом.

Иерофант обвел рукою горизонт, указывая на море и землю:

– Смотри, это все – твое.

– Разве я могу, учитель?.. Я каждый день жду смерти. Я – слабый и больной!..

– Солнце – бог Митра венчает тебя своим пурпуром. Это пурпур кесаря. Все – твое.

Дерзай!

– Зачем мне все, если нет единой правды – Бога, которого ищю?

– Найди Его. Соедини, если можешь, правду Титана с правдой Галилеянина – и ты будешь больше всех рожденных женами на земле!..

\* \* \*

У Максима Эфесского были огромные книгохранилища, тихие, мраморные покои, уставленные научными приборами, обширные анатомические залы.

В одной из них молодой ученый Орибазий, врач Александрийской школы, держа тонкий стальной нож в руках, производил вместе с теургом анатомическое рассечение редкого животного, присланного Максиму из Индии. Зала была круглая, без окон, с верхним светом, устроенная наподобие таких же зал в Александрийском музее; кругом стояли медные сосуды, жаровни, математические приборы Элипила и Архимеда, так называемая *огненная машина* Ктезибия и Герона; в тишине соседнего книгохранилища звонко падали капли водяных часов, изобретенных Аполлоном; там виднелись глобусы, медные географические карты, изображения звездных сфер Гиппарха и Эратосфена. Друзья производили рассечение живого тела по способу великого анатома Герофила. Под ровным светом, падавшим из круглого отверстия в крыше, Максим, в простой одежде философа, смотрел с любопытством в еще теплые внутрен-

ности животного, лежавшие на широком мраморном столе. Маленькие и быстрые глаза его, из-под седых бровей, сверкали обычным пронизательным и насмешливым блеском.

Орибазий говорил, наклоняясь над столом и рассматривая только что вынутую печень:

– Как может философ Максим верить в чудеса?

– И верю, и не верю, – ответил теург. – Разве природа, которую мы исследуем, не самое чудесное из чудес? Разве не чудо и не тайна эти тонкие кровяные сосуды, нервы, совершенное устройство внутренних органов, которые мы рассматриваем, как авгурь?

– Ты знаешь, о чем я говорю, – возразил Орибазий. – Зачем ты обманываешь бедного мальчика?

– Юлиана?

– Да.

– Он сам хочет быть обманутым.

Упрямые тонкие брови молодого врача сдвинулись:

– Учитель, если ты любишь меня, скажи, кто ты? Как ты можешь терпеть эту ложь? Разве я не знаю, что такое магия? – Вы прикрепляете к потолку в темной комнате светящуюся рыбу чешую – и ученик, посвящаемый в таинства, верит, что это – звездное небо, сходящее к нему по слову иерофанта; вы лепите из кожи и воска мертвую голову, снизу приставляете к ней журавлиную шею, и, спрятавшись в подполье, производите в эту костяную трубку ваши пророчества – и ученик думает, что череп возвещает ему тайны смерти; а когда нужно, чтобы мертвая голова исчезла, вы приближаете к ней жаровню с углями – воск тает, и череп распадается; вы из фонаря бросаете отражения сквозь раскрашенные стекла на белый дым ароматов – и ученик воображает, будто бы перед ним видения богов; сквозь водоем, у которого каменные края и стеклянное дно, вы показываете ему живого Аполлона, переодетого раба, живую Афродиту, переодетую блудницу. И вы называете это священными таинствами!..

На тонких губах иерофанта появилась двусмысленная улыбка:

– Таинства наши глубже и прекраснее, чем ты думаешь, Орибазий. Человеку нужен восторг. Для того, кто верит, блудница воистину Афродита, и рыба чешуя воистину звездное небо. Ты говоришь, что люди молятся и плачут от видений, рожденных масляной лампой с раскрашенными стеклами. Орибазий, Орибазий, но разве природа, которой удивляется мудрость твоя, – не такой же призрак, вызванный чувствами, обманчивыми, как фонарь персидского мага? Где истина? Где ложь? Ты веришь и знаешь – я не хочу верить, не могу знать...

– Неужели Юлиан был бы тебе благодарен, если бы знал, что ты его обманываешь?

– Юлиан видел то, что хотел и должен был видеть. Я дал ему восторг; я дал ему веру и силу жизни. Ты говоришь – я обманул его? Если бы это было нужно, я, может быть, и обманул бы, и соблазнил бы его. – Я люблю его. Я не отойду от него до смерти. Я сделаю его великим и свободным.

И Максим взглянул на Орибазия своими непроницаемыми глазами.

Луч солнца упал на седую бороду и седые нависшие брови старика; они заблестели, как серебро; морщины на лбу стали еще глубже и темнее; а на тонких губах скользила двусмысленная улыбка, обольстительная, как у женщин.

## XI

Юлиан посетил несчастного брата своего Галла, когда тот остановился проездом в Константинополе.

Он нашел его окруженным предательской стражей сановников Констанция: здесь был хитрый, вежливый придворный щеголь, квестор Леонтий, который прославился искусством подслушивать у дверей, выспрашивать рабов; и трибун щитоносцев-скутариев, молчаливый варвар Байнобаудес, похожий на переодетого палача; и важный церемониймейстер императора, comes domesticorum, Луциллиан, и, наконец, тот самый Скудило, который был некогда военным трибуном в Цезарее Каппадокийской, а теперь, благодаря покровительству старых женщин, получил место при дворе.

Галл, здоровый, веселый и легкомысленный, как всегда, угостил Юлиана превосходным ужином; в особенности хвастал он жирным колхидским фазаном, начиненным фиваидскими свежими финиками. Он смеялся, как ребенок, вспоминал Мацеллум.

Вдруг Юлиан нечаянно в разговоре спросил брата о жене его, Константине. Лицо Галла изменилось; он опустил пальцы с белым сочным куском фазана, который подносил ко рту; глаза его наполнились слезами.

– Разве ты не знаешь, Юлиан? – по пути к императору – она поехала к нему, чтобы оправдать меня – Константина умерла от лихорадки в Ценах Галликийских, городке Вифинии. Я проплакал две ночи, когда узнал о ее смерти...

Он тревожно оглянулся на дверь, наклонился к Юлиану и проговорил ему на ухо:

– С того дня я на все махнул рукой... Она одна могла бы еще спасти меня. Брат, это была удивительная женщина. Нет, ты не знаешь, Юлиан, что это была за женщина! Без нее я погиб... Я не могу – я ничего не умею – руки опускаются. Они делают со мной, что хотят.

Он осушил одним глотком кубок цельного вина.

Юлиан вспомнил о Константине, уже немолодой вдове, сестре Констанция, которая была злым гением брата, о бесчисленных глупых преступлениях, которые она заставляла его совершать, иногда из-за дорогой безделушки, из-за обещанного ожерелья – и спросил, желая угадать, какая власть подчиняла его этой женщине:

– Она была красива?

– Да разве ты ее никогда не видал? – Нет, некрасива, даже совсем некрасива. Смуглая, рябая, маленького роста; скверные зубы; она, впрочем, избегала смеяться. Говорили, что она мне изменяет – по ночам, будто бы, переодетая, как Мессалина, бежит в конюшню ипподрома к молодым конюхам. А мне что за дело? Разве я не изменял ей? Она не мешала мне жить, и я ей не мешал. Говорят, она была жестокой. – Да, она умела царствовать, Юлиан. Она не любила сочинителей уличных стишков, в которых, бывало, мерзавцы упрекали ее за дурное воспитание, сравнивали с переодетой кухонной рабыней. Она умела мстить. Но какой ум, какой ум, Юлиан! Мне было за ней спокойно, как за каменной стеной. Ну, уж мы зато и пошалили, повеселились – всласть!..

Улыбаясь от приятных воспоминаний, он тихонько провел кончиком языка по губам, еще мокрым от вина.

– Да, можно сказать, пошалили! – заключил он не без гордости.

Юлиан, когда шел на свидание, думал пробудить в брате раскаяние, приготовлял в уме речь, во вкусе Либания, о добродетелях и доблестях гражданских. Он ожидал увидеть человека, гонимого бичом Немезиды; а перед ним было спокойное лицо молодого атлета. Слова замерли на устах Юлиана. Без отвращения и без злобы смотрел он на этого «доброе зверя» – так мысленно называл он брата – и думал, что читать ему нравоучения так же бессмысленно, как откормленному жеребцу.

Он только спросил шепотом, оглянувшись в свою очередь на дверь:

– Зачем ты едешь в Медиолан? – Или не знаешь?..

– Не говори. Знаю все. Но вернуться нельзя... Поздно!

Он указал на свою белую шею.

– Мертвая петля – понимаешь? Он ее потихоньку стягивает. Он из-под земли меня выкопает, Юлиан. И говорить не стоит. Кончено! Пошалили – и кончено.

– У тебя осталось два легиона в Антиохии?

– Ни одного. Он отнял у меня лучших солдат, мало-помалу, исподволь, для моего же, видишь ли, собственного блага – все для моего блага? Как он заботится, как тоскует обо мне, как жаждет моих советов... Юлиан, это Страшный человек! Ты еще не знаешь и не дай тебе Бог узнать, что это за человек. Он все видит, видит на пять локтей под землю. Он знает сокровеннейшие мысли мои – те, о которых изголовьё постели моей не знает. Он видит и тебя насквозь. Я боюсь его, брат!..

– Бежать нельзя?

– Тише, тише!.. Что ты!..

Страх школьника выразился в ленивых чертах Галла.

– Нет, конечно! Я теперь, как рыба на удочке; он тащит потихоньку, так, чтобы леса не порвалась: ведь цезарь, какой ни на есть, все-таки довольно тяжел. Но знаю – с крючка не сорвись – рано или поздно вытащит!.. Вижу, как не видеть, что западня, и все-таки лезу в нее, сам лезу от страха. Все эти шесть лет, да и раньше, с тех пор, как помню себя, я жил в страхе. Довольно! Погулял, пошалил и довольно. – Брат, он зарежет меня, как повар куренка. Но раньше замучит хитростями, ласками. Уж лучше бы резал скорей!

..Вдруг глаза его вспыхнули.

– А ведь если бы она здесь была, сейчас, со мною, что ты думаешь, брат, ведь она спасла бы меня, наверное, спасла бы! Вот почему говорю я – это была удивительная, необыкновенная женщина!..

Трибун Скудило, войдя в триклиний, с подобострастным поклоном объявил, что завтра, в честь прибытия цезаря, в ипподроме Константинополя назначены скачки, в которых будет участвовать знаменитый наездник Коракас. Галл обрадовался, как ребенок. Велел приготовить лавровый венок, чтобы, в случае победы, собственноручно венчать перед народом любимца своего, Коракаса. Начались рассказы о лошадях, о скачках, о ловкости наездников.

Галл много пил; от недавнего страха его не было следа; он смеялся откровенным и легкомысленным смехом, как смеются здоровые люди, у которых совесть покойна.

Только в последнюю минуту прощания крепко обнял Юлиана и заплакал; голубые глаза его беспомощно заморгали.

– Дай тебе Бог, дай тебе Бог!.. – бормотал он, впадая в чрезмерную чувствительность, может быть, от вина. – Знаю, ты один меня любил – ты и Константина...

И шепнул Юлиану на ухо:

– Ты будешь счастливее, чем я: ты умеешь притворяться. Я всегда завидовал... Ну, дай тебе Бог!..

Юлиану стало жаль его. Он понимал, что брату уже «не сорваться с удочки» Констанция. На следующий день, под тою же стражей, Галл выехал из Константинополя.

Недалеко от городских ворот встретился ему вновь назначенный в Армению квестор Тавр. Тавр, придворный выскочка, нагло посмотрел на цезаря и не поклонился.

Между тем от императора приходили письма за письмами.

С Адрианополя Галлу оставили только десять повозок государственной почты: всю поклажу и прислугу, за исключением двух-трех постельных и кравчих, надо было покинуть.

Стояла глубокая осень. Дороги испортились от дождя, лившего целыми днями. Цезаря торопили; не давали ему ни отдохнуть, ни выспаться; уже две недели как он не купался. Одним

из величайших страданий было для него это непривычное чувство грязи: всю жизнь дорожил он своим здоровым, выхленным телом; теперь с такой же грустью смотрел на свои невычищенные, неотточенные ногти, как и на царственный пурпур хламиды, запачканной пылью и грязью больших дорог.

Скудило ни на минуту не покидал его. Галл имел причины бояться этого слишком внимательного спутника.

Трибун, только что приехав с поручением от императора к Антиохийскому двору, неосторожным выражением или намеком оскорбил жену цезаря, Константину; ею овладел неожиданно один из тех припадков слепой, почти сумасшедшей ярости, которым она была подвержена. Говорили, будто бы Константина велела посланного от императора наказать плетями и бросить в темницу; иные, впрочем, отказывались верить, чтобы даже вспыльчивая супруга цезаря была способна на такое оскорбление величества в лице римского трибуна. Во всяком случае, Константина скоро одумалась и выпустила Скудило из темницы. Он явился опять ко двору цезаря, как ни в чем не бывало, пользуясь тем, что никто ничего, наверное, не знал; даже не написал доноса в Медиолан и молча проглотил обиду, по выражению своих завистников. Может быть, трибун боялся, что слухи о постыдном наказании повредят его придворной выслуге.

Во время путешествия Галла из Антиохии в Медиолан Скудило ехал в одной колеснице с цезарем, не отходил от него ни на шаг, ухаживал раболепно, заигрывал, не оставляя его ни минуты в покое, и обращался, как с упрямым, больным ребенком, которого он, Скудило, так любит, что не имеет силы покинуть.

При опасных переездах через реки, на трясучих гатях Иллирийских болот, с нежною заботливостью крепко обхватывал стан цезаря рукою; и ежели тот делал попытку освободиться – обхватывал еще крепче, еще нежнее, уверяя, что скорее согласится умереть, чем дозволить, чтобы такая драгоценная жизнь подверглась малейшей опасности. У трибуна был особенный задумчивый взгляд, которым с молчаливой и долгой улыбкой смотрел он сзади на белую, как у молодой девушки, мягкую шею Галла; цезарь чувствовал на себе этот взгляд, ему становилось неловко, и он оборачивался. В эти мгновения хотелось ему дать пощечину ласковому трибуну; но бедный пленник скоро приходил в себя и только жалобным голосом просил остановиться, чтобы хоть немного перекусить; ел он и пил, несмотря ни на что, со своей обыкновенной жадностью.

В Норике встретили их еще два посланных от императора – комес Барбатион и Аподем, с когортой собственных солдат его величества.

Тогда личину сбросили: вокруг дворца Галла поставили стражу на ночь, как вокруг тюрьмы.

Вечером Барбатион, войдя к цезарю и не оказывая никаких знаков почтения, велел ему снять цезарскую хламиду, облечься в простую тунику и палудаментум; Скудило при этом выказал усердие: так поспешно начал снимать с Галла хламиду, что разорвал пурпур.

На следующее утро пленника усадили в почтовую деревянную повозку на двух колесах – карпенту, в которой ездили, по служебным надобностям, мелкие чиновники; у карпенты не было верха. Дул пронзительный ветер, падал мокрый снег. Скудило, по своему обыкновению, одной рукой обнял Галла, а другой начал трогать его новую одежду.

– Хорошая одежда, пушистая, теплая. По-моему, куда лучше пурпура. Пурпур не согреет. А у этой – подкладочка мягкая, шерстяная...

И, как будто для того, чтобы ощупать подкладку, запустил руку под одежду цезаря, потом в тунику и вдруг с тихим вежливым смехом вытащил лезвие кинжала, который Галлу удалось спрятать в складках.

– Нехорошо, нехорошо, – заговорил Скудило с ласковой строгостью. – Можно как-нибудь порезаться нечаянно. Что за игрушки!

И бросил кинжал на дорогу.

Бесконечная истома и расслабление овладевали телом Галла. Он закрыл глаза и чувствовал, как Скудило обнимает его все с большей нежностью. Цезарю казалось, что он видит отвратительный сон.

Они остановились недалеко от крепости Пола, в Истрии, на берегу Адриатического моря. В этом самом городе, несколько лет назад, совершилось кровавое злодеяние убийство молодого героя, сына Константина Великого, Криспа.

Город, населенный солдатами, казался унылым захолустьем. Бесконечные казармы выстроены были в казенном вкусе времен Диоклитиана. На крышах лежал снег; ветер завывал в пустых улицах; море шумело.

Галла отвезли в одну из казарм.

Посадили против окна, так что резкий зимний свет падал ему прямо в глаза. Самый опытный из сыщиков императора, Евсевий, маленький, сморщенный и любезный старичок, с тихим, вкрадчивым голосом, как у исповедника, то и дело потирая руки от холода, начал допрос. Галл чувствовал смертельную усталость; он говорил все, что Евсевию было угодно; но при слове «государственная измена» – побледнел и вскочил:

– Не я, не я! – залепетал он глупо и беспомощно. Это Константина, все – Константина... Без нее ничего бы я не сделал. Она требовала казни Феофила, Домитиана, Клематия, Монтия и других. Видит Бог, не я... Она мне ничего не говорила. Я даже не знал...

Евсевий смотрел на него с тихой усмешкой:

– Хорошо, – проговорил он, – я так и донесу императору, что его собственная сестра Константина, супруга бывшего цезаря, виновата во всем. Допрос кончен. Уведите его, – приказал он legionерам.

Скоро получен был смертный приговор от императора Констанция, который счел за личную обиду обвинение покойной сестры своей во всех убийствах, совершенных в Антиохии.

Когда цезарю прочли приговор, он лишился чувств и упал на руки солдат. Несчастный до последней минуты надеялся на помилование. И теперь еще думал, что ему дадут, по крайней мере, несколько дней, несколько часов на приготовление к смерти. Но ходили слухи, что солдаты фиванского легиона волнуются и замышляют освобождение Галла. Его повели тотчас на казнь.

Было раннее утро. Ночью выпал снег и покрыл черную липкую грязь. Холодное, мертвое солнце озаряло снег; ослепительный отблеск падал на ярко-белые штукатуренные стены большой залы в казармах, куда привезли Галла.

Солдатам не доверяли: они почти все любили и жалели его. Палачом выбрали мясника, которому случилось на площади Пола казнить истрийских воров и разбойников. Варвар не умел обращаться с римским мечом и принес широкий топор, вроде двуострой секиры, которым привык на бойне резать свиней и баранов. Лицо у мясника было тупое, красивое и заспанное; родом он был славянин. От него скрыли, что осужденный – цезарь, и палач думал, что ему придется казнить вора.

Галл перед смертью сделался кротким и спокойным. Он позволял с собою делать все, что угодно, с бессмысленной улыбкой; ему казалось, что он маленький ребенок: в детстве он тоже плакал и сопротивлялся, когда его насильно сажали в теплую ванну и мыли, а потом, покорившись, находил, что это приятно.

Но, увидев, как мясник, с тихим звоном водит широким лезвием топора, взад и вперед, по мокрому точильному камню, задрожал всеми членами.

Его отвели в соседнюю комнату; там цирюльник тщательно, до самой кожи, обрил его мягкие золотистые кудри, красу и гордость молодого цезаря. Возвращаясь из комнаты цирюльника, он остался на мгновение с глазу на глаз с трибуном Скудило. Цезарь неожиданно упал к ногам своего злейшего врага.

– Спаси меня, Скудило! Я знаю, ты можешь! Сегодня ночью я получил письмо от солдат фиванского легиона. Дай мне сказать им слово: они освободят меня. В сокровищнице Мизийского храма лежат моих собственных тридцать талантов. Никто не знает. Я тебе дам. И, еще большее дам. Солдаты любят меня... Я сделаю тебя своим Другом, своим братом, соправителем, цезарем!..

Он обнял его колени, обезумев от надежды. И вдруг Скудило, вздрогнув, почувствовал, как цезарь прикасается губами к его руке. Трибун ни слова не ответил, неторопливо отнял руку и посмотрел ему в лицо с улыбкой.

Галлу велели снять одежду. Он не хотел развязать сандалии: ноги были грязные. Когда он остался почти голым, мясник начал привязывать ему руки веревкой за спину, как он это привык делать ворами. Скудило бросился помогать. Но, когда Галл почувствовал прикосновение пальцев его, им овладело бешенство: он вырвался из рук палача, схватил трибуна за горло обеими руками и стал душить его; голый, высокий, он был похож на молодого, сильного и страшного зверя. К нему подбежали сзади, оттащили его от трибуна, связали ему руки и ноги.

В это время внизу, на дворе казарм, раздались крики солдат фиванского легиона: «Да здравствует цезарь Галл!»

Убийцы торопились. Принесли большой деревянный обрубок или колоду, вроде плахи. Галла поставили на колени. Барбатион, Байнобаудес, Аподем держали его за руки, за ноги, за плечи. Голову пригнул к деревянной колоде Скудило. С улыбкой сладострастия на бледных губах, он сильно, обеими руками упирался в эту беспомощно сопротивляющуюся голову, чувствовал пальцами, похолодевшими от наслаждения, гладкую, только что выбритую кожу, еще влажную от мыла цирюльника, смотрел с восторгом на белую, как у молодых девушек, жирную, мягкую шею.

Мясник был неискусный палач. Опустив топор, он едва коснулся шеи, но удар был не верен. Тогда он во второй раз поднял секиру, закричав Скудило:

– Не так! Правее! Держи правее голову!

Галл затрясся и завыл от ужаса протяжным, нечеловеческим голосом, как бык на бойне, которого не сумели убить с одного удара.

Все ближе и явственней раздавались крики солдат:

– Да здравствует цезарь Галл!

Мясник высоко поднял топор и ударил. Горячая кровь брызнула на руки Скудило. Голова упала и ударилась о каменный пол.

В это мгновение легионеры ворвались.

Барбатион, Аподем и трибун щитоносцев бросились к другому выходу.

Палач остался в недоумении. Но Скудило успел шепнуть ему, чтобы он унес голову казненного цезаря: легионеры не узнают, кому принадлежит обезглавленный труп, а иначе они могут их всех растерзать.

– Так это не вор? – пробормотал удивленный палач.

Не за что было ухватить гладко выбритую голову. Мясник сначала сунул ее под мышку. Но это показалось неудобным. Тогда воткнул он ей в рот палец, зацепил и так понес ту голову, чье мановение заставляло некогда склоняться столько человеческих голов.

Юлиан, узнав о смерти брата, подумал: «Теперь очередь за мною».

## XII

В Афинах Юлиан должен был принять ангельский чин – постричься в монахи.

Было весеннее утро. Солнце еще не всходило. Он простоял в церкви заутреню и прямо от службы пошел за несколько стадий, по течению заросшего платанами и диким виноградом Иллиса.

Он любил это уединенное место вблизи Афин, на самом берегу потока, тихо шелестевшего, как шелк, по кремнистому дну. Отсюда видны были сквозь туман красноватые выжженные скалы Акрополя и очертания Парфенона, едва тронутого светом зари.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.